

АЛЕКСЕЙ МАКУШИНСКИЙ

ОСТАНОВЛЕННЫЙ
МИР



Алексей Макушинский
Остановленный мир

«ЭКСМО»

2018

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Макушинский А.

Остановленный мир / А. Макушинский — «Эксмо», 2018

ISBN 978-5-04-091926-0

Любовь, дзен-буддизм, искусство фотографии... Четвертый роман Алексея Макушинского, продолжающий его предыдущие книги, показывает автора с неожиданной стороны. Мир останавливается — в медитации, в фотокадре — и затем опять приходит в движение. Герои не прекращают свои духовные поиски. Но приходят ли они к какому-нибудь итогу, и если да, то к какому? Полный дзен-буддистских загадок и парадоксов, этот роман сам по себе парадокс и загадка. Содержит нецензурную брань!

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-091926-0

© Макушинский А., 2018
© Эксмо, 2018

Содержание

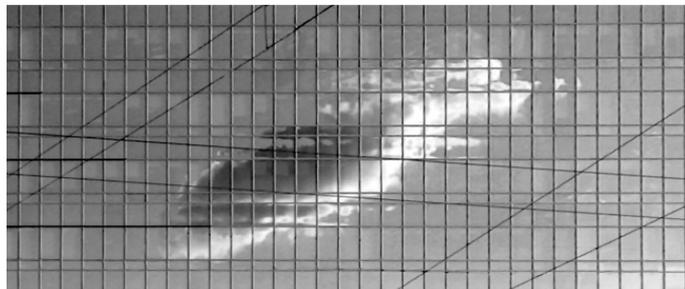
Предуведомление	7
Часть первая,	8
Всеобщая связь вещей	8
Вейль-на-Рейне	9
«Витра»	11
Гете, диалоги с тенями	13
Бетон, приближение	14
Трамвай, кладбище, Д.Т. Судзуки	17
Преувеличенные глаза	20
Убежать от себя	22
Холмы, ангары, конная армия	23
Кипарис во дворе	27
Павел Двигубский	30
Велосипедное лето	31
Иронический Петербург	33
Громоподобное молчание Будды	34
Basso continuo	35
Неоплатоники, суфии, мейстер Экхард	36
Темный деспот, красное дерево	38
Толстовский нос на гоголевском лице	39
Шестой патриарх, обожаемый нами	40
Свобода – сейчас	43
Дзен на Юпитере, дзен на Луне	45
Голубые горы, похотливый шофер	46
Гейдеггер и девицы	47
Пуруша и пудгала	49
Смуглая леди, страшные полыньи	51
Емельяныч, черт бы его побрал	53
Одинокий параллелепипед	54
Из духовушки по эйдосам	56
Бодяк и мордовник	58
Движение во времени	59
«Макс»	60
Ложи и декорации	62
Улица Инвалидов	63
Рай – рядом, закрытая дверь	65
Буддистский хутор	66
Явление Боба	67
Окау	69
Кинхин и прочие прелести	70
Идиосинкразия интеллигенции	72
Свободные сосны	74
Машкин Верх, Монблан мисочек	75
Этость и таковость	77
Siberia	79
Сэнь-цянь и Чжао-чжоу	80

Бирманская поза	82
Боль	83
Удар палкой	84
Ирена	86
Сепп Мейер, Ганс Мюллер	87
Всесилие и всевластье	89
Бедро (не Иакова)	90
Неповторимость, невозвратимость	91
Бескрайнее небо, великолепное и пустое	93
Вы спите, вам надо проснуться	94
По каменистым дорогам	96
Бенгалия, Бенарес	98
Виктор	100
Виндельбанд, Рикерт, Ласк	101
Дзен на войне	102
Темные тайны	103
«Одумайтесь!»	104
Фауст, утренняя заря	105
Отшельник, пустынный	107
Пит и пигалица	108
Снова Франкфурт, толчея небоскребов	110
Сангха	112
Музейный берег	115
Перевернутые огни	116
Светский разговор о символической переправе	117
Дважды два – пять	119
Перечеркнуть психологию	121
Идеальный беспорядок	122
Нис Rhodus	123
Конец ознакомительного фрагмента.	124

Алексей Макушинский

Остановленный мир

Время течет из настоящего в прошлое.
Доген Дзендзи



Художественное оформление серии *Алексея Дурасова*

Предупреждение

Все персонажи этой книги (включая автора) вымышлены; все совпадения с реальными (что бы сие ни означало) людьми случайны. Для удобства чтения в конце книги помещен маленький словарь буддистских (или, скажем, родственных буддистским) имен и понятий, встречающихся в тексте. Сегодня счастливый день.

Часть первая, где больше всего говорится обо мне самом

*О нашей мысли обольщенье,
Ты, человеческое Я...*

Тютчев

Всеобщая связь вещей

Все как-то связано в мире, но мы не знаем, конечно, как. Мы чувствуем, что все как-то связано в мире, что все со всем соотносится, одно отзывается в другом и перекликается с третьим – слова, и поступки, и события, и воспоминанья, и то, что было, и то, чего не было, – но эта связь ускользает от нас, манит нас, не дается нам в руки. Вот-вот, нам кажется, мы поймем – поймаем! – самое для нас важное, то, что нам так нужно – всего нужнее! – понять, поймать, ухватить; а все же (как, бывает, во сне догоняешь и догоняешь кого-то: он поворачивает за угол – и ты поворачиваешь за угол; он в переулок – и ты в переулок; но там лишь влажная мгла, мерцание фонарей...) – все же это *вот-вот* так никогда и не превращается в окончательное, однократное *вот*, разрешающее наши сомнения, наши мучения.

Вейль-на-Рейне

Так думал я по дороге в Вейль-на-Рейне, крошечный городишко в нижнем левом углу немецкой карты, на самой границе Германии со Швейцарией и с Францией; городишко, примечательный этим своим положением на стыке трех стран, примечательный еще кое-чем – пешеходно-велосипедным мостом, например, соединяющим Францию и Германию на зависть и на виду у Швейцарии; великолепным, арочным, велосипедно-пешеходным мостом, возведенным в 2006 году по проекту австрийского, в Париже живущего архитектора Дитмара Фейхтингера инженерным бюро «Леонгард, Андрэ и партнеры» (бюро, которое после войны основал Фриц Леонгард, знаменитый инженер, построивший, среди прочего, первую в мире бетонную телебашню – штуттгартскую; потом телебашню франкфуртскую; приложивший руку и к созданию Останкинской). Был вечер, когда я добрался до места моего назначения; шел мелкий, тихий, почти по-летнему теплый, осенний дождик; и с немецкого, и с французского берегов, с пришвартованных возле моста пароходов доносились пьяный гогот, пьяные крики. Стальная арка залихватской дугою выгнута над собственно мостом (тем, по которому едут велосипеды, идут пешеходы), причем высшая точка этой дуги находится не посередине, но ближе к французскому берегу, на месте, если я правильно увидел и понял, золотого сечения, что, конечно, и придает всей конструкции ее спокойную элегантность; дождевые тонкие струи стальным блеском отсвечивали, попадая в лучи прожектора, установленного на одном из ребер моста и направленного почему-то в швейцарскую сторону; отсвечивая, становились стрелами; становились подвижной стеною посланных с неба стрел. Французский берег казался еще темнее, пустее немецкого; идти по нему было некуда; были только далекие, редкие огни по эту и по ту сторону Рейна, потерянные в пространстве; и огни береговые, ближние, дробившиеся в черной воде; был сонный плеск этой черной воды, к которому я долго прислушивался, прежде чем перейти обратно на немецкую сторону, возвратиться в гостиницу. Гостиница, где я заранее забронировал номер, оказалась громадной, у грохочущей автострады, одной из тех беспробудных в своей анонимности громадных гостиниц (с вихрясто-морскими пейзажами на грязно-желтых стенах гулких горестных коридоров и этими особенно ненавистными мне плечиками в затхло-пахучих шкафах; плечиками, или распялками, как в моем детстве их называли, надетыми не на обычный, соприродный человечеству крюк, а на мерзкий тоненький штырь, вставляемый в особую прорезь на исподе крыши затхло-пахучего шкафа – чтобы забывчивый или жадный до чужого добра путешественник не прихватил с собой гостиничную грошовую собственность); одной из тех издалека, марсианским светом, светящихся многоэтажных гостиниц, куда автобусами завозят туристские галдящие группы, чтобы они там погоготали у стойки бара, выдрыхлись в климатизированных комнатах, смели, умяли и слопали все великолепные ветчины, и все кровавые, и менее кровавые, и просто кровавые колбасы, и все сорта сыра, и вообще весь раблезианский завтрак, расставленный на шведском столе, и отправились дальше, в ту абстрактную даль, в которую всегда едут такие группы, неизвестно куда, непонятно зачем; с трудом изъяснявшаяся по-немецки, из Албании или Румынии завезенная косоглазая девушка, выдавшая мне ключ от номера, попросила меня не спускаться к завтраку до половины девятого, до тех пор, пока все автобусы, все туристы не уедут в свое никуда. Кровать была широкая, плохая, бугристая. Кондиционер свистел и стремился надуть мне в ухо простуду. Выключить его было нельзя, потому что нельзя было оставить открытым окно; автострадный грохот обрушивался на меня всякий раз, когда я это окно открывал. Я спал все-таки совсем неплохо в ту ночь, к собственному своему удивлению; и уже заканчивал наутро поедание ветчин, колбас и омлета, когда по мобильному телефону позвонила мне моя старинная франкфуртская приятельница, скажем так, Тина Р., спросившая меня, не знаю ли я, где Виктор, наш общий, так скажем, приятель, где он и что с ним, поскольку он, Виктор, не подает о себе вестей, на ее звонки не отве-

чает и она вдруг начала беспокоиться. Я думал, что вы расстались, сказал я. Они расстались, но она все равно беспокоится. Я не знал ни где Виктор, ни что с ним. Я ответил, что я сам сейчас в Вейле-на-Рейне, как раз заканчиваю поедание раблезианского завтрака и отправляюсь осматривать разнообразные здания, построенные фирмой «Витра» на своей территории, ради чего, собственно, сюда и приехал, поскольку, как она, Тина, может быть, слышала, фирма «Витра», вообще-то занимающаяся изготовлением модельной мебели в частности, и в первую очередь стульев, устроила на своей территории что-то вроде игровой площадки для современной архитектуры, представленной такими замечательными, дорогими сердцу любого архитектурного *фрика* именами, как Фрэнк Гери, Заха Хадид, Ричард Фуллер... Ты, значит, ничего не слышал о Викторе? – Нет, ничего. – Она бывала в «Витре», – сообщила после недолгой паузы Тина, – даже делала там фотографии для одного журнала, давно это было. Ей надо уезжать; она желает мне приятной поездки. Жаль, сказал я, что мы не можем провести этот день вместе, пофотографировать вместе. У тебя хоть штатив-то с собой? – спросила она на это. Штатив, – сказал я, – у меня всегда с собою; всегда лежит в багажнике, дожидаясь своей минуты.

«Витра»

Как-то все связано в мире, каким-то образом все со всем соотносится. Я чувствовал, удивляясь себе, ничем не оправданную и ни на чем не основанную ответственность за этого Виктора М., десять, нет, уже двенадцать лет назад учившегося у меня в Эйхштеттском Католическом университете; и вовсе не потому чувствовал ответственность за него, что десять и двенадцать лет назад он посещал мои семинары по русской истории, сдавал экзамены и писал курсовые работы, но потому что это я, не кто-нибудь, в свое время познакомил его, причем совершенно случайно, в электричке, по дороге из Кронберга во Франкфурт, с только что позволившей мне Тиной, я же дал ему и адрес буддистского центра в Нижней Баварии, то есть, думал я, подъезжая к «Витре», невольно оказался причиной неких, в его жизни, похоже, важнейших событий и отношений, притом что сам я не так уж с ним и часто встречался и никакой особенной роли в моей собственной жизни он никогда не играл, до сих пор не играет. Ему вообще свойственно исчезать, думал я; он, конечно, найдется... Еще я думал о том, что вот, увы, роман, все последнее время меня занимавший – «Пароход в Аргентину», – роман, посвященный, среди прочего, вполне удивительным, намекающим на какие-то скрытые от глаз смыслы и соразмерности эпизодам из жизни великого русско-балтийско-аргентинско-французского архитектора Александра Николаевича Воскобойникова, более известного просвещенному человечеству под своим галлицизированным именем Alexandre Vosco, – что роман этот, к моему счастью и несчастью, закончился, что он, в общем, дописан, доделан и что еще я езжу, по инерции, по Европе в поисках архитектурных впечатлений, источников вдохновения, но что уже нужно – не выдумывать (выдумать их нельзя, как бы ни хотелось их выдумать) другую историю, других персонажей, – нужно просто ждать (и неизвестно еще, как долго ждать), чтобы они сами во мне появились, склублились, обрели черты, и ожили, и заговорили со мной и друг с другом. Почти не было машин на стоянке; был туман, понемногу и нехотя поднимавшийся над зелеными скатами окружных холмов. Я набрал номер Викторова мобильного; он не ответил. Чуть-чуть, помнится, болела у меня голова, да и живот не радовался пантагрюэлевым яствам... Пишущий человек в одиночестве никогда не бывает, говорит Поль Валери. Подозреваю, что и люди, ничего не пишущие, в одиночестве бывают довольно редко. Одиночество обращает нас к тому, что есть, к настоящему. А настоящее трудно, настоящее требует усилий. Куда как проще предаваться фантазиям, воображать себе будущее, воображать себя в будущем... Я показывал призрачному кому-то эти замечательные здания, собранные фирмой «Витра» на клочке прирейнской, еще германской, почти швейцарской земли; так показывал их кому-то, как если бы я уже знал их, уже бывал здесь (хотя был здесь впервые), как если бы то *сейчас*, в котором я осматривал их один, уже отодвинулось в прошлое, а наступило в самом деле будущее, легкое будущее, в котором я и показывал их кому-то – не вообще кому-то, но (так мне помнится, хотя уверенности у меня нет: статисты наших мечтаний взаимозаменяемы, призрачны и прозрачны), – именно этому Виктору, Виктору М., которому только что пытался я дозвониться (потому, наверное, и показывал ему все это, что пытался дозвониться ему, значит, думал о нем) и которого при этой воображаемой прогулке с ним по территории фирмы «Витра» в Вейле-на-Рейне я никак не представлял себе, поскольку мое внимание было в первую очередь сосредоточено на том, что я видел вокруг, но которого я теперь, вспоминая и сочиняя, вижу довольно отчетливо, как (вновь скажу) если бы он и вправду шел в тот день со мной рядом (в той брезентовой, ложноохотничьей и подлинно пижонской темно-зеленой куртке Varbou, в которой ходил он все последние франкфуртские годы, и в вязаной бордовой шапочке с помпончиком, не просто дисгармонизировавшей с курткой от Varbou, но словно издевавшейся над этой курткой и еще над чем-то, над кем-то; шапочке, в свою очередь, служившей предметом Тининых, поначалу совсем, затем все менее беззлобных издевательств; ему

же, Виктору, служившей для прикрытия буддистской синевы его голого черепа, после исчезновения тех очень русских, прямо каких-то рязанских – при том, что он был чисто питерского, еврейско-чухонского, как выражался сам, происхождения – кудрей, которыми так забавно и трогательно тряс он в эпоху нашего с ним первого, эйхштеттского, знакомства...) – как если бы он и вправду шел в тот день рядом со мною, от стоянки к так называемому «Витра-Хаусу», предназначенному для продажи продуктов фирмы (стульев, столов и диванов, ламп, торшеров и стульев снова, стульев еще раз) и построенному базельским архитектурным бюро «Герцог и де Мерон» (славным, среди прочих своих достижений, тем, что спроектировало к чемпионату 2006 года мюнхенский, на всю округу светящийся стадион) в виде поставленных друг на друга под неожиданными углами продолговатых, без окон, но с застекленными прозрачными торцами домов (так скомпонованных, что получается здание сновидческое, с завитками лестниц, сводами переходов) – домов намеренно обыкновенных, какими дети рисуют их (с торца глядячи: квадрат и над ним треугольник), домов (я насчитал их двенадцать), напомнимших мне (что тут же я и сказал моему бесплотному спутнику) какие-то дачные домики, так называемые «финские домики» моего детства, совсем не такие новые, не такие шикарные, но такие же продолговатые, с такими же треугольными крышами, домики, понятное дело, стоявшие не друг на дружке, но мирно и просто, на соседних участках, за облезло-зеленым штакетником бесчисленных подмосковных заборов. Все ведь связано в жизни, хоть мы и не знаем как... Мы чувствуем эту связь, говорил я сам себе и кому-то (Виктору или не Виктору), иногда, в наши лучшие мгновения чувствуем ее очень остро – и сами не понимаем, что нам с ней делать, и потому идем просто дальше, от «Витра-Хауса» к небольшому, безумному, разлетающемуся в разные стороны Музею дизайна Фрэнка Гери, где быстро обходим неинтересную выставку каких-то, опять же, лампочек, ламп и торшеров и покупаем билет на ближайшую экскурсию, позволяющую проникнуть на территорию собственно фирмы, посмотреть другие достопримечательности.

Гете, диалоги с теньями

Мне казалось в молодости, что эта склонность нашего ума к диалогам с теньями есть его роковой изъян, род болезни, то ли моей особенной и личной, то ли какой-то общечеловеческой болезни, до сих пор не описанной; и я только диву давался, почему о ней не кричат на всех углах и во всех переулках; велико же было мое изумление и велика моя радость, когда я прочитал в «Поэзии и правде», что и самому Гете было свойственно вести в уме (im Geiste) долгие разговоры со своими знакомыми (которые весьма и весьма удивились бы, расскажи им кто-нибудь, что он, Гете, вызывает их духи и призраки для идеальной беседы). Из этих бесед вырос «Вертер»; монологи автора превратились в письма героя... В «Вертере» ответы отсутствуют; наши внутренние собеседники, как правило, неразговорчивы. Это мы говорим перед покорной публикой, иногда говорим вразумительно, вдохновенно, сами удивляясь, может быть, необыкновенным мыслям, приходящим нам в голову, иногда нисколько не вразумительно, не в силах остановиться, повторяя одно и то же, теряя нить своих разглагольствований, да и сами теряясь в неподвластных нам, мерзко взвихренных словах и речах.

Бетон, приближение

Воображаемый Виктор исчез, когда экскурсия началась. Уже не я показывал в мечтах о будущем эти здания, шедевры (совсем-шедевры или все-таки-не-совсем-шедевры) современной архитектуры, но мне показывали их наяву, в настоящем. В настоящем и наяву показывала их мне и рассказывала о них (по-английски; немецкой экскурсии пришлось бы ждать часа полтора) белокурая, стройная и вообще прелестная девушка в цветастой юбке, черных, вылезавших из-под юбки рейтузах, черной же майке под белую курточкой; девушка, так хорошо, с таким легким, таким едва уловимым славянским акцентом говорившая по-английски, что я только под конец экскурсии признал в ней соотечественницу; уже мы полюбовались музеем Фрэнка Гери и герцог-де-мероновским «Витра-Хаусом» в других ракурсах и с другой стороны, уже постояли возле крошечной заправочной станции Жана Пруве, уже прошли мимо кирпичного, плоского и словно намеренно никакого фабричного здания, которое на месте похорошего и когда-то сгоревшего построил не менее всех прочих знаменитый португальский архитектор Альваро Сиза Вейра, уже осмотрели со всех сторон, изнутри и снаружи, пресловутую пожарную часть (едва ли, с туристической точки зрения, не главный аттракцион «Витры»), тоже, как и более поздний музей Фрэнка Гери, во все стороны разлетающуюся, из тупых и острых углов, косых плоскостей, изгибов, изломов составленную пожарную часть (никаких пожарных в ней давно уже нет), в 1993 году возведенную здесь Захой Хаидид (Захой Хаидид, которой до этого самого 1993 года нигде ничего не давали строить, полагая ее в сущности сумасшедшей); уже мы прошли и осмотрели все это, уже постояли и возле идеально белого, идеально круглого, нереально большого производственного цеха – совсем недавнего создания японского архитектурного бюро SANAA, уже пошли к последнему зданию, неподвижному и молчащему, как все они, – зданию, однако, которое в своем неподвижном молчании сказала мне больше и произвело в душе моей движение сильнейшее, чем все остальные, – к построенному тоже в 1993-м году японским, опять-таки, архитектором Тадао Андо так называемому конференц-центру, или конференц-павильону, павильону для конференций (Konferenzpavillion), – уже пошли мы к нему, когда я, наконец, решился спросить нашу водительницу, все еще по-английски, откуда она, собственно, родом. Большие, очень красные цветы на ее юбке перекликались с красными бусами на черной майке и красными же носками, вылезавшими из-под черных рейтуз; родом она оказалась из Харькова. Отрадно все-таки, когда дама всерьез продумывает свой туалет. Вы видите это здание? – спросила она меня по-русски, затем, вспомнив, что она на работе, по-английски всех прочих (признаться, не запомнившихся мне) участников экскурсии. Do you see this building? Нет, вы не видите этого здания, you don't see it, объявила она с интонацией почти торжествующей, указывая на вишневые, уже чуть тронутые желтизной деревья, стоявшие каждое само по себе, как если бы они были одновременно деревьями и статуями деревьев, на коротко и гладко постриженной, еще совсем зеленой лужайке; указывая широким и тоже торжествующим взмахом руки на бетонную стену за ними. Редкие узенькие желтые листики, осыпавшиеся с деревьев, отчетливо и тоже, подумал я, с какой-то почти скульптурной отъединенностью друг от друга выделялись на гладкой траве. Уже туман давно поднялся, но солнца не было; не было, впрочем, и облаков; была лишь смутно светящаяся пелена почти белого неба. Бетон стены, к которой шли мы, казался издалека, и оказался на ощупь, тоже гладким, серым, нежным, не очень холодным; мое первое прикосновение к знаменитому тадао-андовскому бетону; знаменитому, среди прочего, тем, рассказывала нам прелестная харьковчанка, что опалубка, применяемая для его изготовления, одного размера с традиционными японскими татами, то есть матами из тростника и соломы, которыми застилается пол в японских домах (и не только застилается ими пол, но и размер комнаты измеряется количеством татами, лежащих на полу: обычная комната в шесть татами, к примеру; большая комната в двенадцать

татами...), так что бетонная стена, неважно, внутренняя или внешняя, оказывается поделенной на прямоугольники (длинные стороны которых всегда в два раза больше коротких) с шестью, как правило, углублениями от опалубки. Сделать такую опалубку и соответственно такой бетон здесь, в Германии, было очень непросто, рассказала нам наша водительница, поскольку здесь другие стандарты, другие нравы, обычаи, навыки бытия... Между тем открылось нам само здание, наполовину утопленное в ландшафт, с отчасти стеклянными стенами (тоже поделенными на продолговатые прямоугольники, длинные стороны коих расположены, впрочем, вертикально, как если бы намекали они, но совсем тихо намекали, на готические, вверх уходящие витражи; единственная вертикаль в этой очень горизонтальной, очень плоской архитектуре...), с внутренними, в ландшафт и землю утопленными двориками, с разнонаправленной гармонией все тех же татамно-бетонных, под неожиданными углами смыкающихся, расходящихся снова стен; продуманными перемещениями света, передвижениями теней по бетонным поверхностям; здание, которое разбудило меня. Я не спал и до этого. Я смотрел внимательно, фотографировал очень усердно, давно простившись с воображаемым Виктором, пребывая в своем *сейчас*, в своем настоящем. Все-таки я почувствовал толчок пробуждения, как только прелестная харьковчанка подвела нас к конференц-павильону, и продолжал себя чувствовать разбуженным, пробужденным, блуждая вдоль этих стен, по этим дворикам, сидя за длинным столом в зале для, собственно, конференций, откуда за отчасти соборными стеклами снова видны были скульптурные вишневые деревья, зеленая трава лужайки, светящееся белое небо. Оно было, это здание, а вместе с тем его не было. Оно впервые, всякий раз, возникало, вот сейчас, из зеленой лужайки, белого неба, светящейся пустоты. Пробуждение возвращает нас к нам самим, оставляет нас в одиночестве. Я смотрел на этот бетон и был счастлив. Это было ощущение телесное. Счастье всегда телесно. Я подумал, что дзен-буддистская тема, так долго звучавшая в моей жизни, потом отступившая на второй, на третий план, никуда не ушла, что она здесь и я всегда могу к ней опять обратиться. Уже пару лет, кажется, как я почти перестал *сидеть* в том особенном смысле, который придают этому слову в буддизме, то есть заниматься тем, что в буддизме называется *дза-дзеном* – сидячим дзеном и что так неточно и плохо передается словом *медитация* (отчего мы в дальнейшем употреблять его по возможности и не будем). Еще я подумал, что хотел бы снова начать *сидеть*, начать *сидеть* вот сейчас, прямо здесь. Я даже сложил руки, покуда (в обычном, отнюдь не дзенском смысле) сидели мы в кожаных черных креслах (неудобных и загогулистых) в зале для конференций и харьковская прелестница продолжала рассказывать нам о Тадао Андо и особенностях его, как она выражалась (в соответствии, надо полагать, с общепринятой классификацией), архитектурного минимализма, – потихоньку, чтобы никто не видел, сложил руки в традиционную дзенскую *мудру*, ладонями кверху (левая ладонь на правой, и большие пальцы касаются кончиками друг друга, образуя прямую линию) и, сложив так руки, принялся, как много лет подряд это делал, как делал это в дзен-буддистском монастыре, считать свои выдохи, от одного до десяти – и снова от одного до десяти. Все связано в мире, все в мире со всем соотносится. И то, что мне позвонила Тина именно в этот день, именно в этот день спросила меня о Викторе (которого последний раз я видел, если память не подводит меня, весною), это тоже (думал я, считая выдохи, по ту сторону счета) одно из тех восхитительных совпадений, которые всегда так занимали меня, которые, случаясь с нами, всякий раз и радуют нас, и пугают, и даруют нам веселое чувство общности с чем-то, но мы не знаем и никогда не узнаем, с чем именно... Так жаль мне было расставаться с этим зданием, этим (или таковым оно казалось мне) зримым, бетонным воплощением дзен-буддистской пустоты и свободы, что, пообедав в ресторане в составленном из дачных домиков герцог-де-мероновом «Витра-Хаусе», я не нашел в себе сил поехать просто домой, не-домой, в то случайное место под Франкфуртом, где я тогда жил, куда возвращался всегда с неохотой, но еще часа полтора с не покидавшим меня ощущением покоя и счастья бродил по доступной простым посетителям, без всякой экскурсии, уже по-осеннему мокрому, чуть-

чуть проседавшей, с легким хлопом пружинившей под ногами лужайке возле тадао-андовского конференц-павильона, в разных ракурсах фотографируя, теперь уже со штативом, разбегание его плоских, в ландшафт утопленных стен; в сумерках добрался до Базеля; и поскольку цены там оказались вполне швейцарские, для простых граждан Евросоюза почти оскорбительные, возвратился опять на германскую сторону и, поленившись искать что-нибудь новое, в конце концов в ту же гостиницу, где ночевал накануне и где другая рыженькая, но тоже – клянусь! – косоглазая – один глаз смотрел на меня, другой на пыльную пальму – албанка-румынка, плохо говорившая по-немецки, помучив компьютер, понажимав на разные, мне показалось, случайные клавиши, объявила, что номер, где я ночевал накануне, свободен и, если я хочу, я могу получить его.

Трамвай, кладбище, Д.Т. Судзуки

Мне было двадцать два года, когда я начал читать дзен-буддистские книги; вспоминаю теперь – так отчетливо, как если бы он тоже был зданием, которое можно обойти со всех сторон, снять в разных ракурсах – очень серенький, очень блеклый, с мелким дождичком, петербургский (тогда еще, если угодно, ленинградский) денек (время действия: май, начало мая, предположим, 2 мая 1982 года) и как я стоял на остановке – где-то на Петроградской стороне – в ожидании трамвая, тогда ходившего, с тех пор переставшего, наверное, ходить, в сторону Черной речки и за Черную речку (в смысле за станцию метро «Черная речка»), трамвая (упорно не появлявшегося), на котором я собирался доехать до Серафимовского кладбища, где похоронены мои дедушка, бабушка и няня, где много позже, вечность спустя, мне предстояло похоронить мою маму, о чем, конечно, я и не задумывался в тот майский мокрый денек. Еще вся жизнь была повернута в будущее; но *такого* будущего, *настоящего будущего* (да простится мне каламбур) я и представить себе не пытался; ужаснулся бы, если бы вдруг представил его себе. Будущее, в которое повернута была жизнь, было, как оно и естественно для двадцати двух лет, будущим мифологическим, будущим мечты и надежды; тем *легким будущим*, в котором мы так охотно воображаем себя, в котором все всегда удается, в котором голова не болит, да и обжорство не оборачивается изжогой... Оно тоже, впрочем, на той трамвайной остановке отсутствовало; никаких призрачных разговоров ни с какими бесплотными собеседниками я не вел; ничего никому не рассказывал, не доказывал; ни перед кем не пытался покрасоваться. Я вдруг совпал с самим собой, со своим настоящим (дождем, улицей, булыжником между трамвайными рельсами). Накануне или в тот же день утром у друзей, пускавших меня ночевать, когда я приезжал (что часто делал) из Москвы в Петербург (писать «Ленинград» все же противно), впервые попало мне переведенное на русский язык неведомым адептом (наверное, с ошибками) и размноженное с классической самиздатовской блеклостью на подпольном ксероксе одно из бесчисленных сочинений Д.Т. Судзуки – даже не знаю теперь, какое именно: «Введение в дзен-буддизм», или «Основы дзен-буддизма», или «Эссе о дзен-буддизме»; как бы ни называлось оно, что-то, опять же классическое, некая убедительная простота и освященная традицией ясность видятся мне в этом – не мною, но за меня сделанном – выборе; знакомство с дзен-буддизмом с чтения Судзуки и должно начинаться; в XX веке в Европе, в Америке и даже за железным занавесом знакомство с дзен-буддизмом ни с чего иного, похоже, начаться и не могло. Не помню, где именно, на какой улице это было, но помню, что улица, попитерски широкая и прямая, с одной стороны упиралась в громадный доходный дом, неопределенно-бурого, в памяти (или забвении) стершегося цвета, из-за которого (дóма), обогнув его, и должен был выехать, упорно не выезжал мой трамвай, с другой же – уходила к каким-то деревьям, смутной, бледной и первой листвой зеленеющим в памяти и забвенье, к какой-то воде за ними (может быть, к Карповке, может быть, к Кронверкскому проливу). Был жестяной, проржавевший по краям козырек над парадным ближайшего к остановке дома, козырек, под которым я и прятался от дождя, то почти кончавшегося, то опять принимавшегося сыпать из низких и рваных туч. Что такое Будда? – Старая половая тряпка... Я ем, когда голоден, я сплю, когда устал. – Чем же ты отличаешься от обыкновенных людей? – Я *правда* ем, когда я голоден, я *правда* сплю, когда я устал... В тот день, значит, прочитал я свои первые *коаны*, первые парадоксы, неразрешимые загадки, которые вовсе и не надеялся когда-нибудь разрешить, которые нравились мне сами по себе, просто так. А все ведь вообще *просто так*. Я вот стою здесь, потому что жду трамвая; но я могу и не садиться в этот трамвай; никто не принуждает меня. На самом деле я *просто так* здесь стою... Было огромное чувство освобождения от чего-то, что до сих пор томило и теснило меня, от каких-то пут и скреп моей юности, которых я и сам, может быть, дотоле не сознавал, и вместе с тем (как мне уже приходилось

писать) чувство какой-то новой связи со всем, что окружало меня в этот миг, в этот день – с этим дождем, этими каплями, падавшими с навеса, с трамвайными рельсами, рваными тучами и мокрой брусчаткой, каких-то новых отношений, в которые, удивляясь, вступал я с вещами и временем. Было, скажу иначе, очень острое, печально-радостное, по сути своей музыкальное ощущение вот этого *сейчас*, вот этого настоящего мгновения времени, в котором я находился, которое держало меня. Я был в нем и был в нем свободен. А это и было одно из тех особенных, лучших наших мгновений, которые могут длиться довольно долго (полчаса, час...) и которые, выпадая из жизни, столь многое, случается, изменяют в самой этой жизни, что мы вновь и вновь вспоминаем их и через десять лет, и через двадцать, и через тридцать. Трамвай пришел; мгновенье закончилось. Все мгновенья заканчиваются. Не закончилось то, что тогда началось. И даже этот трамвай еще видится, еще помнится мне теперь (в отличие от стольких других трамваев, на которых потом случалось мне в жизни кататься), трамвай, шатавшийся, звеневший и скрежетавший, как все русские трамваи в то время, с еще (или так мне помнится) деревянными обшарпанными сиденьями и широкими косыми полосами дождя, бежавшими по его стеклам. Я не знал, где сходить. Исчезнувшая из памяти женщина, у которой спросил я, где Серафимовское кладбище, не ответила ничего. Ответил пожилой дяденька, в плаще и галстуке, с лицом настолько питерским и, значит, старорежимным, что хочется назвать его пожилым господином, при очевидной невозможности такого определения в рабоче-крестьянском контексте 1982 года. Сходите, сходите, молодой человек, уже сейчас Серафимовское, проговорил он с чуть-чуть, мне помнится, удивленною интонацией. Я сошел и мимо квадратных домиков (они и теперь там), мимо редких, с редкими мокрыми листиками, взвихренных ветром березок дошел до железнодорожного переезда, перед которым безмолвные, в платочках, старушки (они тоже все еще там) продавали кладбищенские цветочки, веночки; прошел мимо памятника погибшим в блокаду; мимо чудной, деревянной и деревенской церкви Серафима Саровского, уже выискивая глазами ту огромную, совсем не белую, от старости заскорузлую березу, по которой всегда находил и нахожу до сих пор нужную мне могилу, большой серый камень, гладкий с одной и утесисто-неотесанный с другой стороны. Все как-то связано в мире (хоть мы и не знаем, как именно); все в мире взаимодействует. А в то же время мир распадается для нас на отдельные, по внешней видимости и по нашему ощущению друг с другом не связанные миры; мы переходим из одного строя чувств и мыслей в другой строй мыслей и чувств внезапно (как ошалевшая страна в эпоху революционных потрясений). Дзен в тот первый день, когда я узнал о нем, звучал для меня как счастливая, радостная, даже веселая, пожалуй, мелодия, совсем неожиданная посреди уже почти привычной серости и мрачности мира; я был пленен парадоксами; пленен возможностью так – с такой иронией, с таким вызовом, с такой беззаботностью, такой бесшабашностью – говорить и думать о вещах важнейших, о надежде и безнадежности, о смысле, бессмысленности и смерти; послать к черту взрослую угрюмую жизнь с ее постылой серьезностью... Ничего общего не имели эти новые чувства, новые мысли с той печалью, тем сознанием невозвратимости, непоправимости всех потерь, которое охватывало (и охватывает) меня всякий раз, когда я стою на этой могиле, перед этим серым камнем с его (тогда) тремя именами (с тех пор прибавились новые; вернее, прибавились сперва временные таблички; затем другой камень, похожий), с именем моей бабушки (Елизаветы Иродионовны Макушинской), датами ее жизни (1898–1972). Десять лет прошло тогда с ее смерти; вечность прошла теперь. Всякий раз, когда я стоял (и стою) здесь, на этом кладбище, под этим всегда низким и тоже, как земля вокруг, плоским небом – небом, самая плоскость которого говорит о близости моря, залива, большой воды – о том же говорит, конечно, и ветер, – всякий (или почти всякий) раз я так сильно и безоглядно думал о моей бабушке, здесь похороненной, что начинал вдруг чувствовать краешком души ее живое присутствие, как если бы она обращалась ко мне откуда-то, – не из этого камня, и не из этой березы, и даже не из этого низкого неба, но совсем из другого – здесь рядом, но все же совсем другого, – в

пространстве не находимого места, безместного места, беспространственного пространства, – обращалась ко мне с внезапной, тихой, немислимой, в языке и словах не нуждавшейся вестью, которую и пытался я поймать, понять, разгадать.

Преувеличенные глаза

Возвращаться в тот же номер, тот же отель было глупостью; не самой страшной, конечно, из сделанных в жизни глупостей, думал я, ворочаясь на бугристой кровати в приавтострадной гостинице в Вейле-на-Рейне, где я заснул – и сразу проснулся, и потом уже не мог заснуть до утра. Я лежал, прислушиваясь к свиристению кондиционера (который в итоге пришлось мне выключить – так нагло дул он мне в ухо); прислушиваясь к равномерно-неравномерному, вдруг взрывававшемуся, затем затихавшему, потом продолжавшемуся на одной ноте шуму автострады за плотным двойным окном; следя за проникавшими в комнату сквозь узкие прорезы штор, пробегавшими по стенам и потолку быстрыми, внезапными отблесками автомобильных фар, бросаемыми на этот потолок, эти стены явно не теми машинами, что всю ночь проносились по автостраде, но другими, непонятно какими, кружившими вокруг отеля, в пространстве ночи, по неведомым путям и дорогам; потом опять закрывал глаза, опять пытался заснуть. Я чувствовал это ночное пространство вокруг меня и гостиницы; сознавал – тоже, в сущности, чувствовал – проходящие рядом границы (между Францией и Швейцарией, Швейцарией и Германией); сознавал и чувствовал – видел, внутренним зрением – текущую рядом реку, здесь еще не очень широкую, но уже готовую пересечь пол-Европы; чувствовал, сознавал и видел, короче, эту Европу вокруг меня, Европу, за годы моих странствий (моих *Wanderjahre*) изъезженную вдоль и поперек, и с востока на запад, и с юга на север, но все же таящую за каждым третьим углом и каждым вторым поворотом что-то новое, еще неизведанное, – так ее видел и чувствовал, как если бы она была одновременно самой собой и своей собственной картой, – картой, по которой легко я двигался, пересекая границы и реки, на восток и на запад, на восток скорей, чем на запад (и чем дальше на восток, тем дальше и глубже во времени), от Базеля сначала на север, во Фрейбург, с которым так много связано в моей жизни, первый германский город, в котором я (в 1988 году) оказался, и дальше через Шварцвальд по горным и безумным дорогам, вьющимся серпантинам, мимо темного озера с комическим названием Титизее и еще дальше, к Боденскому озеру, в Констанц, и оттуда на пароме, по мерцающей в памяти водной глади, на фоне сияющих, тоже в памяти, снежных вершин – в Мерсбург, где на широкой террасе местного замка стояла некогда Аннета Дросте-Гюльсгоф, замечательная поэтесса, глядя, как бушуют и беснуются волны под нею, отдаваясь ветру, распустив волосы и мечтая, в какие приключения пустилась бы, будь она мужчиной, а не женщиной, обреченной только стоять и смотреть... и дальше уже прямой дорогой на Мюнхен, центр всей моей жизни, и от Мюнхена, к примеру, на север, в Эйхштетт, этот крошечный, в долине реки Альтмюль спрятавшийся городишко с крепостью на одном из холмов, резиденциями епископа, зимней и летней, и университетом, единственным в Германии католическим, – городишко, где я впервые оказался осенью 1992 года (через десять – с половиною – лет, следовательно, после того трамвая, того косога дождя), откуда сбежал в 1996-м, куда был вынужден возвратиться в 2001-м, получив там (в помянутом университете) работу, и где познакомился с Виктором М., в июне или июле того же 2001 года, в конце, во всяком случае, летнего семестра 2001 года, поскольку он, Виктор, появился там в конце этого летнего семестра в обществе других, из России, Казахстана, Болгарии или Черногории, периодически прибывавших в эйхштеттскую католическую идилию соискателей двухгодичной стипендии так называемой Германской Службы Академического Обмена (DAAD), которых (соискателей) мы (сотрудники) должны были допрашивать на предмет наличия или отсутствия у них элементарных исторических знаний, чтобы при наличии таковых они могли начать учебу со следующего (в данном случае зимнего) семестра (то есть с середины октября все того же 2001 года), в противном же случае отправиться восвояси; почему и каким образом попал в это общество Виктор, я, ворочаясь на кровати, не знал; теперь знаю. Я лежал и ворочался, уже почти не пытаюсь заснуть, но пытаюсь представить себе этого

Виктора М., до которого накануне (или еще не совсем накануне... был тот час бессонной ночи, когда *сегодня* понемногу превращается во *вчера*) не сумел дозвониться, представить его себе таким, каким впервые увидел, с его тогдашними русско-рязанскими кудрями, которых самих по себе, наверное, было бы недостаточно, чтобы я сразу его запомнил, – точно так же, как я не запомнил (не смог бы вспомнить теперь) почти никого из других соискателей этой стипендии, проходивших предо мною в разные годы (помню одну болгарку с кровавыми ногтями, такими длинными и так ярко покрашенными, что казались не ногтями, но когтями, когтями какого-то мифологического существа, только что вонзавшего их в чью-то истерзанную невинную плоть; ее тоже, впрочем, помню не только из-за этих когтей и ногтей, но и по тому еще, как трогательно пыталась она увильнуть от ответа на наш, опять-таки, вполне невинный вопрос о роли ее родной Болгарии в Первой мировой войне; чем больше она виляла и чем хитрее увиливала, тем яснее становилось нам, что она вообще ничего не знает о Первой мировой войне, то есть вообще ничего, то есть даже не совсем уверена, что была такая война, а уж кто с кем, почему и когда воевал – все это лежало так далеко за пределами ее духовных горизонтов, как если бы речь шла о каких-нибудь войнах в средневековом Китае, средневековой Японии; мы, конечно, никакой стипендии ей не дали). Вопросы о Первой мировой войне вызывали почему-то панику у большинства претендентов; еще бóльшую панику вызывал наш классический вопрос о различиях между режимами авторитарными и тоталитарными, хотя, уж по крайней мере, аспиранты из Восточной Европы должны были бы знать толк и в том, и в другом. Не помню уже, смог ли Виктор сказать что-то внятное на эти волнующие темы, вообще (еще раз) не запомнил бы его, вероятно, несмотря на рязанские кудри, если бы не его безумные, осмысленные, невыносимые, страдальческие глаза – и не его заикание, резко, хотя для него и мучительно, выделявшее его из общей массы соискателей стипендий, искателей приключений, как оно и всегда выделяло его, признавался он мне впоследствии, из любой группы и массы, любой компании, на любой вечеринке... Он краснел, когда заикался; причем заикался, говоря по-русски, сильнее и мучительней, чем по-немецки (как если бы переход на чужой язык, которым в ту пору владел он весьма приблизительно, избавлял его от каких-то давних печалей); кудри его тряслись и вздрагивали при этом. Ему было тогда, если я ничего не путаю, года двадцать три, может быть, двадцать четыре; глаза его уже и в ту далекую пору удерживали, если не прямо приковывали к себе взгляд собеседника, даже экзаменатора, пытавшегося выведать у него что-нибудь о тоталитарных и авторитарных режимах; глаза осмысленные, все-таки сумасшедшие, страдальческие, особенно когда он заикался, и словно преувеличенные (как бывает на старых фотографиях или в старом кино: глаза Мозжухина, думал я, следя за потолочными отсветами, или глаза Зиновьевой-Аннибал на том известном снимке, где она полулежит на кушетке рядом с Вячеславом Ивановым и кажется его, Вячеслава Иванова, и крупнее, и мужественней).

Убежать от себя

Я снова увидел его (то есть, разумеется, Виктора) лишь в октябре, в начале зимнего семестра 2001–2002 года, причем, если память, опять-таки, меня не подводит, на берегу местной речки – Альтмюля, – вдоль которой он бежал в спортивных трусиках и спортивной же майке с лямками – костюм, хотя еще совсем тепло было, уже не очень соответствовавший сезону, зато позволявший оценить его атлетическое сложение, его широкую грудь и сильные, стройные ноги; он улыбнулся извиняющейся улыбкой, слегка, похоже, стыдясь своего наряда, своей наготы. Он сказал, что на днях прилетел из Петербурга и что собирается посещать мои семинары («Бесы и генезис русской революции», еще что-то о земщине и опричнине); да, ответил он на мой вопрос, он бегает каждый день, иногда подолгу, уже много лет (я подумал, что *много лет* в его возрасте звучит довольно смешно), бегал дома и не видит причин не бегать здесь, добавил он, показывая на окружавшие нас голые холмы, как если бы эти холмы каким-то образом оправдывали и объясняли его бег, вообще имели какое-то отношение к этому бегу. Они же, казалось мне, ни к кому и ни к чему отношения не имели, эти голые холмы вдоль Альтмюля; холмы, начинавшиеся – точнее, открывавшиеся в своей наготе, пустоте, – стоило пройти (или, например, пробежать) от университета каких-нибудь пятьсот метров; холмы, с там и сям разбросанными по ним серыми валунами, камнями, в которых виделось мне что-то кельтское – я встречал такие в Ирландии, – что-то мифологическое, друидическое, по ту сторону обжитого мира, бесконечно далекое не только от современности, но – от всякого времени. От себя, впрочем, не убежишь (от с-с-с-себя, впрочем, не у-у-у... не убежишь...), еще он добавил – тут же, по своему обыкновению, покраснев, улыбнувшись смущенно и криво, улыбкой человека, стремящегося показать, что сказанное им – шутка, что не в шутку он не произнес бы подобный трюизм, или стремящегося обратить в шутку трюизм, произнесенный всерьез или хоть отчасти всерьез. Грудь его еще поднималась и опускалась от бега; рязанские кудри прилипали к мокрому лбу; преувеличенные глаза окатывали меня своим безумным и осмысленным светом. А хотели бы убежать? – спросил я, тоже как будто в шутку (не совсем всерьез, не совсем не всерьез). Н-не знаю. Иногда хотел бы, ответил он, да, очень хотел бы – и побежал дальше, побежал быстро, едва ли даже попрощавшись со мною, убегая если не от себя, то от своих же слов и собственного смущенья. Холмы и камни смотрели ему вслед все с тем же мифологическим равнодушием; очень ясно, в осеннем распаханном небе, в той стороне, куда бежал он, виднелись очертания эйхштеттской крепости, с ее зубцами и стенами, нависавшей и нависающей над городком; вода в быстрой речке легко и нежно шелестела длиннолиственными ветками к ней склонившихся ветел.

Холмы, ангары, конная армия

Ужасно одиночество в большом, еще ужаснее одиночество в маленьком городе. А это был городок примечательный: с провалами в доисторическое, дочеловеческое, в мир разнообразных фоссилий и завитков, улиток и раковин, чуть ли не следов птеродактиля, извлекаемых из окружных каменоломен, сберегаемых в местном музее, и с провалами в историю, в Средневековье раннее и позднее, в эпоху первых епископов, пришедших из Англии в своем невообразимом VIII веке, со своими невообразимыми именами (Виллибальд, Вунибальд и сестра их Вальпурга) крестить грубых германцев. Я все-таки убежал оттуда как мог и когда мог (тоже и в свою очередь, убегая, наверное, от себя); убежал оттуда, в частности и даже в первую очередь во Франкфурт, еще не подозревая, как много будет в моей жизни впоследствии связано с этим отнюдь не выпавшим из времени городом. У меня была подруга во Франкфурте. Ее звали Викой, эту франкфуртскую подругу, то есть звали ее в строгом смысле совсем не Викой, но Габриэлой – имя, которое так не нравилось мне, как и ей самой, до сих пор называвшей себя, понятное дело, Габи, что я просто-напросто переименовал ее, и она сама себя переименовала, в конце концов, в Вику, воспользовавшись вторым из данных ей при крещении имен (у нее их было в общей сложности три – Габриэла Виктория Моника). И не только сходствовало это ее второе, с моим появлением сделавшееся первым, имя с Виктором, но (поскольку все со всем в мире связано...) в ней самой, этой вскоре из моей жизни исчезнувшей и выпавшей Вике, виделось (или теперь мне видится) некое (в разрезе глаз, в складке губ) сходство с Тиной, хотя она была много моложе Тины и много стройнее, – с Тиной, у которой (поскольку мир состоит из сплошных переключек...) имена, в свою очередь, путались, двоились, троились, о чем она, между прочим, сообщила мне при моем с ней (случайном) знакомстве осенью (опять осенью), но уже 2004 года, в поезде, по дороге во Франкфурт. Я ехал всякий раз с пересадкой в Нюрнберге, то есть добирался до Нюрнберга на местном маленьком поезде, не спешившем выбраться из захолустья; в Нюрнберге садился в большой скоростной поезд, Intercity Express (ICE), за два часа (изредка испуская драконий шип, разбойничий свист) долетавший до Франкфурта, с остановкой в Вюрцбурге. Были – и есть по-прежнему в таких поездах – просто кресла (два по одну и два по другую сторону от прохода) и есть кресла, разделенные столиком, глядящие друг на друга; вот за таким столиком, в кресле у прохода, я и сидел; напротив, у окна, сидела Тина. До сих пор не знаю, откуда она в тот день ехала; не помню, села ли, как и я, в Нюрнберге или уже сидела в поезде, когда я вошел в вагон; вижу ее сразу с сэндвичем в руках, раблезианских размеров сэндвичем, который и поела она едва ли не в течение всего перегона до Вюрцбурга. Я таких сэндвичей на своем жизненном пути еще не встречал. То был безумной длины батон с продольным разрезом, в который уложено было все, на что хватило кулинарной фантазии торговавшего бутербродами турка, араба ли, на нюрнбергском или другом каком-то вокзале – куски в чем-то очень восточном, остро-пахучем обжаренной куриной – или, может быть, индюшачьей – грудинки, сыр и брынза, помидоры и огурцы, салат всех сортов – обычный, широколистный, а также французский – с мелкими, а также итальянский – с длинными узкими листиками, наконец, маслины и шампиньоны, артишоки, пеперони и каперсы; удержать всю конструкцию одной рукой было, наверное, трудно, пожалуй, что и вообще невозможно – при совершении надкуса в особенности (говоря по-зоценковски); сжимающиеся при совершении одного половинки норовили вытолкнуть наружу что-нибудь из его, сэндвича, сумасшедшего содержимого – маслинку ли, каперс, кусочек ли курятины, индюшатины; Тина, держа сэндвич в левой руке и придерживая правой, ухитрялась, отдадим ей должное, не выронить ничего; только хлебные крошки падали на ее гигантскую грудь. Как все фотографы и большинство толстых женщин, она всегда носила (и носит) черное; белые крошки запутывались в ворсинках ее мохерового мягкого джемпера; выделялись слишком отчетливо,

чтобы можно было оставить их там дожидаться конца процедуры. Отставляя от себя сэндвич в левой вытянутой руке, она очень осторожно, очень тщательно снимала с себя крошки двумя пальцами правой, выковыривая и вырывая их из ворсинок нежно лакированными розовыми ногтями. Все это выглядело так, как будто она сидит и шиплет себя за гигантскую грудь. Сэндвич исчезал очень медленно, неуклонно сокращаясь, но еще долго сохраняя свою безудержную длину – так долго, что казалось, это не кончится никогда; исчезал при этом словно сам по себе, без всяких усилий с Тининой стороны; Тина, отдадим ей, опять-таки, должное, ухитрялась поглощать его так, что не только не падало ничего, кроме крошек, ни на столик, ни на гигантскую грудь, но почти незаметно было, что она жует и проглатывает все это – этот сыр, эту брынзу; явно думала она о чем-то постороннем, приятном, не меньшее удовольствие получая от своих мыслей, чем от маслин и жареной курицы; в лице ее было то спокойствие, какое бывает в лице у человека хорошо выпавшегося, ничем не болеющего, никуда не спешащего, никаких бед не ждущего... Чем дольше это длилось, тем трудней мне было удержаться от счастливого смеха. Она, похоже, угадывала мои неприличные мысли, даже их одобряла; усмехнулась в ответ мне коротким, все понимающим, прощающим все смешком. И она справилась со своей задачей; выщипала последние крошки. Вот так-то, произнесла она не без вызова, комкая кулек и салфетки, все, что осталось от побежденного бутерброда. Тут поезд вдруг прекратил свое драконье стремление к неведомому, испустил один, последний, самый разбойничий свист – и очутился, очнулся в чистом поле под Вюрцбургом. Был осенний солнечный день, как будто все тот же; вечный германский осенний день, с этой легкой и прозрачною дымкой в воздухе, погружающей мир в свою собственную стихию, свое собственное свечение; придающей одновременно отчетливые и мягкие, ясные и все же чуть-чуть смещенные очертания вещам и предметам – деревьям (вновь ветлам), полоскавшим длиннолистые ветви в местном ручье; дальним холмам, несколько не друидическим, просто положим и золотым, шафрановым и червленым, и на полпути к ним, еще в долине – белым плоским промышленным зданиям, очень обыкновенным, но тоже, заодно со всеми прочими подробностями ландшафта, преображенным этой дымкой, этим свечением. Неподвижность картины соответствовала неподвижности поезда. Все замерло, по крайней мере снаружи. Внутри было движение, пересуды пассажиров, недовольных задержкою; появление проводника, ничего никому не сумевшего объяснить; шелест газет, мерзкий щелест музыки в чьих-то наушниках; наглый голос, с явным удовольствием поведавший вагону и миру, что кто-то, небось, опять на рельсы бросился – все время они бросаются; наконец сообщение зашипевшего громкоговорителя, что по техническим-де причинам мы здесь вынуждены стоять, и сколько еще простоим, неизвестно, но как только станет известно, он, громкоговоритель, всем и тут же непременно расскажет; Тина, ни малейшего внимания не обращая на все это, пристально, словно стараясь разглядеть там что-то до сих пор незамеченное, смотрела в неподвижность снаружи. Но ничего там не было, кроме светящейся дымки, ручья и ветел, проселочной дороги и зеленой травы, бурно-белых промышленных плоскостей, золотых и рыжих холмов. Никто не ехал и не шел по дороге. Откуда вдруг появились на ней всадники, я не помню или не понял. Сначала появились два всадника – или две всадницы, было не разобрать – на казавшихся огромными лошадях, две всадницы (или два всадника) в пестрых продолговатых шлемах и ярких светящихся жилетах вроде тех, что носят дорожные рабочие, дабы не наехал на них никакой сумасбродный водитель; один всадник в желтом, другая всадница в красном жилете. Так медленно и так, за окнами поезда, беззвучно ехали они по дороге, что казались частью этой законной солнечной неподвижности, не разрушали, но дополняли ее. Когда появилось еще два всадника (или две всадницы), Тина, приподнявшись, изогнувшись и вытянувшись, достала с полки, которая тянется в таких поездах вдоль всего вагона, большую, рыжую, кожаную, потертую, на длинной лямке и с блестящими застежками сумку, поставила ее перед собою на столик, извлекла из нее фотоаппарат, сделала быстрый снимок – за окном была уже кавалькада из шести, восьми, десяти, все

больше становилось их, всадников, – затем достала один объектив, положила его рядом с сумкой, подумала, достала другой, дико длинный, почти такой же длинный, каким был только что в руках ее сэндвич, принялась прилаживать его к аппарату. Опять мне трудно было удержаться от смеха, опять, показалось мне, угадала она и одобрила мои неприличные мысли; усмехнулась всепрощающим коротким смешком. Сквозь солнечный и неподвижный ландшафт так же молча и медленно двигалась разноцветная армия, то ли шедшая на приступ промышленных зданий, то ли собравшаяся покорять золотые холмы. Только Тина, долго крутившая колесики своего аппарата, кружки объектива, собралась сделать снимок, как поезд дернулся, зашипел и поплыл. Ну вот, не успела, произнесла Тина, глядя прямо на меня, смеясь, играя глазами. Теперь уже нетрудно было заговорить, даже трудно было не заговорить с ней. Никаких всадников за окном больше не было: пошли туннели, тьма и грохот этих туннелей, потом узкие, темные, извивистые долины, сосны на склонах, подступавшие вплотную к железной дороге. Мало что помню из нашего тогдашнего разговора; помню, что она пригласила меня на выставку ее фотографий через неделю, в одном из франкфуртских банков. Красивой она не показалась мне, несмотря на роскошные ее формы; некрашенные в тот день (или так мне помнится) негустые русые волосы, сзади собранные в пучок, слишком туго обтягивали ее круглую голову, каковая, круглая, туго обтянутая, слишком маленькой выглядела на ее полной шее, над ее плечами и бюстом, как будто по недосмотру не ту голову, чью-то чужую, приставили к туловищу; слишком узкими были и губы, изгибавшиеся, даже как-то (я подумал) змеившиеся по лицу между щек, над первым и вторым подбородком. А смешок был прелестный, все искупавший; глаза тоже смеялись, светились. Лицо, главное, было открытое; широкое и большое; повернутое к миру; готовое к слезам и смеху; готовое превратиться в трагическую маску или комическую; не превращавшееся ни в какую; не застывавшее; остававшееся живым, потому, конечно, и беззащитным. В немцах (и в немках) бывает что-то мертвое (думал я, лежа на своей гостиничной бугристой кровати), как если бы они не позволяли себе вполне быть живыми, боялись быть живыми, боялись жизни вокруг. Это внешняя оболочка, как правило, броня и панцирь, неизвестно зачем на себя надеваемый. В Тине не было этого; никогда не было этого; она себя не отгораживала от мира. Я спросил ее, происходит ли ее имя от Кристины, Беттины или Мартины (или, может быть, добавил я, Валентины); она ответила, что нет, ни от какой не Беттины, ни от какой не Кристины и уж тем более не от Валентины, мы не в Италии (и не, я добавил, в России), что она Тина просто, то есть не просто Тина, поскольку есть у нее и другие два имени, но все всегда называли, называют ее просто, все-таки, Тиной. Какие другие? – спросил я. Она их не любит. И не скажет мне? Скажет, конечно. Ее зовут Тина Ирмгард Адельгейд. Какая прелесть, как мне нравятся эти древние германские имена. Какая романтика, какая экзотика... Для нас, объявила Тина, с тем скучно-суровым видом, с каким потомки древних германцев повторяют прописные истины, преподанные им в школе, для нас все это слишком тесно связано с самыми мрачными эпизодами нашей истории. Ее так называли в честь разных родственниц и теток. Только Тину ее мама и папа придумали сами. А как зовут их самих? Ее маму и папу? Маму зовут Эдельтрауд, отца зовут Винфрид, все с тем же скучно-суровым видом произнесла Тина, удивленная моей смелостью. Какая экзотика, какая романтика... А ведь русские тоже чудят с именами, поди разберись в них. Вот в романах, случается, героя называют сперва так, затем вдруг иначе, героиню сначала эдак, потом еще как-нибудь. Я попробовал, без большого успеха, объяснить ей разницу между Алексеем Анатольевичем и Алешкой; ни того, ни другого, ни *Aleksej Anatoljewitsch*, ни *Aljoschka*, выговорить она не смогла; смеялась громко, на манер многих немков, грудным, гулким смехом. За окном появились уже небоскребы, вдаль и все сразу, как обычно они появляются, когда ты подъезжаешь к Франкфурту (на машине или на поезде), весь этот лес небоскребов, лесок небоскребов, потому, я думаю, столь фантастический, что небоскребов немного и стоят они рядом друг с другом, так что, подъезжая к Франкфурту (на поезде, на машине), ты видишь вовсе не большой город, с его небоскребами,

но вообще никакого города ты не видишь, а видишь именно лес, лесок, рощицу небоскребов, вдруг вырастающих на равнине, сверкающих на солнце, сквозь осеннюю дымку, благословенно равнодушных к окружающей их и нас плоской жизни. Всякий раз восхищает меня это зрелище, откуда бы и когда бы ни подъезжал я к Франкфурту, на машине или на поезде. Но как не думать, глядя на сверкающие вдали небоскребы, что они потому стоят здесь, что стоявшее некогда на том же месте обращено было в пепел и прах? Самой своей новизною, своим сверканием и блеском напоминают они о войне и бомбежках, о развалинах и руинах, о том мире, который был, которого нет. Мы и живем на развалинах исчезнувшего, погибшего, и наша новая архитектура (которой, бывает, так восхищаемся, которой, бывает тоже, бывает чаще, так ужасаемся мы) лишь прикрывает, не в силах прикрыть ее, всегда готовую разверзнуться за всем стеклянным сверканием, бетонным блеском, безмерную, нисколько не буддистскую пустоту.

Кипарис во дворе

Почти стихли машины за окнами, автострада, наконец, опустела, опустели и неведомые другие дороги, отсвет фар не бегал по потолку и по стенам. Я все-таки заснуть уже не надеялся, но лежа на бугристой, с течением времени все более бугристой кровати (как если бы бугры ее росли подо мною), вспоминая мое знакомство с Виктором, с Тиной, думал, что и то, и другое (другое в особенности) должно быть когда-то где-то описано, не должно быть потеряно, что просто обидно было бы не использовать в каком-нибудь сочинении тот сэндвич, тех всадников, и тут же, забывая о них, заснуть уже не надеясь, вспоминал иное, давнее, связанное пусть не всегда мне понятной связью с увиденным накануне, с моими мыслями о дзене и Викторе, об архитектуре и о войне; и по-прежнему ощущая пространство вокруг гостиницы, кровати и комнаты, двигался, как по карте, чем дальше на восток, тем глубже в прошлое, в то совсем глубокое прошлое, в котором я и представить не мог себе никакого (я думал) католического университета в баварской провинции (какой католический университет! какая Бавария! дорогой Леонид Ильич доживает последние дни, Андропов Юрий Владимирович скоро покажет нам бабушку Лигачева; а мы и не смотрим на кумачовые их портреты, нам плевать на все это, мы читаем Судзуки и живем своей жизнью), никакого, ни скоростного, ни просто поезда из Нюрнберга во Франкфурт, но в котором был скорей уж один из бесчисленных ночных поездов моей русской молодости, Красная стрела, или не-Красная не-стрела, – тот, от всех других (бесчисленных и бессонных) поездов моей молодости (с их душными купе, их чаем в стаканах с подстаканниками, пустотой и тайной неведомых станций, которые видишь с верхней полки, перегнувшись, отодвинув плотную штору, тайною этих будок, шлагбаумов, чьих-то вдруг голосов, чьих-то шагов по платформе, мерцания мокрого асфальта под одиноким, качающимся на ветру фонарем...) – от всех этих поездов уже неотличимый теперь поезд, на котором в невообразимую весну 1982 года (после моих трамвайных, кладбищенских, дзенских переживаний) я возвратился из Ленинграда в Москву, где, впрочем, пробыл недолго, уже в июне отправившись (на очередном таком поезде, ночном и бессонном) в курляндскую деревню у моря (маленькую – теперь, говорят, разросшуюся, за дюной спрятанную деревню у моря), где большая часть (летняя часть; я, впрочем, иногда и зимою бывал там) моей молодости, собственно, и прошла. Все же этот май 1982-го, между возвращением из Ленинграда и отъездом в Ригу, вспоминается мне теперь, из тридцатилетнего фантастического отдаления, как отдельное, счастливое время – счастливый весенний месяц со скульптурно-снежными, тоже счастливыми, облаками в высоких окнах Библиотеки иностранной литературы на Котельнической набережной, куда я ходил едва ли не каждый день – вдохновенно, по своему обыкновению, прогуливая занятия в (ненавистном мне) институте, в котором я тогда еще учился (доучивался), – читать дальше Д.Т. Судзуки (о существовании *другого* Судзуки, Сюнрю Судзуки, я не подозревал), читать Алана Воттса (или Ваттса, или Уотса; Alan Watts, транскрибируйте, как хотите), читать любопытнейшую книгу R.H. Blyth, *Zen in English Literature and Oriental Classics*, читать еще всякие, не менее сумасшедшие, сочинения; и читая их, делая выписки (как жаль, что не сохранились они), узнавал имена и понятия, которые с тех пор и сопровождают меня всю жизнь, то отступая на задний план, то вновь выходя на передний; узнавал о Бодхидхарме, первом дзенском патриархе, в конце V века принесшем дзен-буддизм из Индии в Китай, Бодхидхарме, который, если верить легенде, просидел девять лет, глядя в голую стену, покуда не обрел просветление (что бы сие ни значило), когда же появился в Китае, то сам будто бы (благочестивый) император спросил его, в чем суть буддистского учения, на что тот ответил (так, по крайней мере, передает этот ответ Вильгельм Гундерт в самом, наверное, известном переводе «Би Янь Лу», см. ниже, на какой бы то ни было европейский язык): *Ничего святого, открытый простор* (offene Weite, nichts vom Heilig); и как же нравился мне этот *открытый простор*, в котором ничего

святого нет, никаким богам поклоняться не нужно, но есть только свобода, огромный воздух, огромный ветер свободы – и какое-нибудь легкое облачко, плывущее по лазоревому чистому небу... Кто же тот, кто стоит сейчас передо мною? – спросил на это ошарашенный император. Я не знаю, был ответ. И я не знал, кто я такой, и понимал, что никто не знает, кто он такой, а ведь все вокруг притворяются, все делают вид, что они – то-то или то-то, такие-то и такие-то, а я видел, что все они обманывают себя и других, а на самом деле есть только одно огромное неведение, ничего святого, открытый простор... Сей примечательный диалог составляет содержание самого первого коана в знаменитом, только что мной упомянутом сборнике «Би Янь Лу», по-японски «Гекиганроку», в русском переводе называемом «Записи лазурной скалы», или «Скрижали лазурной скалы» – сборнике из целых ста таких коанов, коротких парадоксальных историй, не поддающихся рациональному решению загадок, восходящих, как правило, к какому-то легендарному или историческому разговору, обмену вопросами и ответами (*мондо*) между двумя, тоже более или менее легендарными, более или менее историческими персонажами буддистского средневековья, какими-нибудь двумя китайскими монахами, учеником, например, и учителем, в восьмом, девятом или десятом фантастическом веке. Этих сборников несколько, узнавал я из своих книг в Библиотеке иностранной литературы, в мае 1982 года, тоже вполне фантастического; самые известные из них «Би Янь Лу» и «Ву Мэнь Гуань», «Мумонкан» по-японски, в русском переводе «Застава без ворот», или «Бездверная дверь», сборник, составленный неким Мумоном в начале тринадцатого, если я правильно понял, столетия из, опять-таки, знаменитых диалогов, историй и анекдотов предшествующих эпох, которые (диалоги и анекдоты) снабдил он своими комментариями и сопроводил подобающими стихами; нынешние издатели, интерпретаторы и переводчики прибавляют к ним, как правило, еще и комментарии собственные, комментарии к комментариям и дополнения к дополнениям; самый первый и уже самый-самый знаменитый коан в этом сборнике (более знаменитого коана вообще, наверное, нет) – это (как уже догадался читатель) история о собаке и «природе Будды». Обладает ли собака природой Будды? – спросил ученик у Дзэсю (по-китайски Чжао-чжоу, жившего будто бы с 778-го по 897 год, то есть целых сто двадцать лет). *Му*, ответил тот (или, по-китайски, *ву*); нет, не имеет, не обладает. А по учению самого Шакьямуни все обладает этой «природой Будды»: и собаки, и кошки, и деревья, и придорожные камни, и травы, и лопухи, и репейник; все, в принципе, «хорошо весьма», все уже просветлено и ни в каком дополнительном просветлении не нуждается. Будда и есть, собственно, тот, кто это осознал и осуществил (осознал и тем самым осуществил; осознал не одним лишь сознанием, но всем своим существом); почему (учит дзен) столь уж почтительно относиться к нему и не нужно, при случае можно назвать его «старой половой тряпкой» или «тремя фунтами льна» (восемнадцатый коан в «Мумонкане»), и как же (опять-таки) нравилась мне эта свобода от пиетета и ханжества, от всякого ладана и всяких возведенных горе очей... «Встретишь Будду – убей Будду, встретишь патриарха – убей патриарха», – говаривал Линь-цзы (Риндзай по-японски; IX век; точных дат не нашел я), тоже один из важнейших (и, как видим, остроумнейших) персонажей в истории дзен-буддизма. Убей Будду в себе; не поклоняйся идолам. Не в Будде дело; ты сам, в конце концов, Будда... Все-таки Чжао-чжоу ответил на вопрос о собаке: *нет, не имеет*, природой Будды не обладает, и потому ответил так, или так я понимал это (в малую меру моего понимания), что истина, или, если угодно, «природа Будды», лежит по ту сторону всяких слов, и, значит, всякого «да», всякого «нет», что о ней сказать ничего нельзя, можно только указать на нее, намекнуть на нее, ткнуть в нее лицом (чужим) или пальцем (своим), ударить адепта палкой по голове, чтобы он уже увидел, наконец, то, что следует увидеть ему. Дзен, узнавал я, сидя в читальном зале Библиотеки иностранной литературы, склоняясь над Судзуки или поднимая голову к весенним облакам за высокими окнами, стараясь не слушать шелест чужих страниц, шепот девушек и шиканье стариков, – дзен, узнавал я, и предполагает передачу учения без всяких священных писаний и непосредственное указание на истину в сердце ученика. Сердце

ученика было учению открыто, и всему, что читал он, еще он в ту пору верил. Мой любимый коан (тридцать седьмой в «Мумонкане») тоже был (как и все они) таким непосредственным указанием на истину, и участвовал в нем все тот же Чжао-чжоу (по-японски, соответственно, Дзёсю). Опять является к нему безмянный ученик, чтобы задать свой «дзенский вопрос». В чем смысл прихода патриарха с Запада? – Кипарис во дворе. Какой смысл был патриарху (то есть Бодхидхарме, основателю дзена) приходить в Китай с Запада (то есть из Индии) и основывать здесь у нас, в любимом Китае нашем, свою школу дзен (по-китайски, собственно, *чань*)? – спрашивает ученик, взыскующий смысла и истины. То есть какой смысл всего этого, всего этого дзена, или чаня? есть во всем этом какой-нибудь смысл? – Кипарис во дворе, отвечает Чжао-чжоу. *A cypress-tree in the yard...* Смысл есть, смысла нет, кипарис во дворе. И так (еще раз) нравился мне этот кипарис во дворе, что я почти как заклинание повторял эти три слова по-русски и по-английски, возвращаясь, к примеру, домой, идучи из библиотеки вдоль Яузы или выходя на бульвар, чтобы дойти до метро, воображая себе, как Чжао-чжоу еще не сто двадцатилетней, но уже старческой рукою показывает удивленному адепту этот в синее небо растающий кипарис, который так же обладает и так же не обладает природой Будды, как любая собака, и так же раскрывает или не раскрывает смысл дзена, как те облака и те весенние вязы, на которые сам смотрел я по дороге к метро. Они тоже еще почти не пыльной листвою вращались в воздух, в пустое пространство; небо над ними бледнело, из синего понемногу делалось сизым; над дальними крышами намечались розовые легкие полосы, быстрые росчерки, каллиграфические упражненья заката. Молодость вообще невнимательна. Все же иначе, лучше (чуть-чуть лучше), чем раньше, я видел (начал видеть) мир в ту весну и, сидя на бульваре на лавочке, закуривая (странно вспомнить теперь) очередную сигарету (извлеченную из очередной пачки «Столичных», очередной пачки «Явы»), смотрел как никогда прежде на эти дзенские иероглифы неба или, опуская голову, с таким острым ощущением своего собственного присутствия в настоящем, вот сейчас и вот здесь, по ту (или эту?) сторону слов, какого (ощущения) у меня до той поры не бывало, следил за ободранными голубями, глухо, по своему обыкновению, гулькавшими, бродившими вперевалку, вытягивая и вновь втягивая глупые головы, в поисках съестного чего-нибудь, в пыли аллеи, между скамеек, или за двумя тетеньками на скамейке напротив, одна из которых (я ее почему-то запомнил), толстая, в песочном плащике и пестрой косынке, во все продолжение возбужденного разговора с другой (худой и забытой) тетенькой, не замечая, конечно, что она делает, приминала пяткою задник тупоносой туфли, примяв же, начинала исправлять содеянное, тяжело заваливаясь набок, выпрямляя пальцем и всей рукою разглаживая злосчастный задник, после чего опять принималась приминать его пяткою... Это дзенское недоверие к словам казалось мне родственным, как ни странно, поэзии – не в том смысле (думал я, отрываясь от теток, отправляясь дальше к метро), что поэзия тоже указывает на что-то или намекает на что-то, лежащее вне ее, но скорее в том (думал я, о тетках и туфлях забыв уже окончательно), что при всех намеках, при всех указаниях, стихи парадоксальным образом не стремятся *говорить о чем-то*, но стремятся *быть чем-то*, быть *самой вещью* и потому, возникая из слов, оставаясь словами, не доверяют словам – по крайней мере, таким словам, какими мы пользуемся в нашей обычной речи, обыденной жизни, пользуемся и в наших рассуждениях, построениях и умствованиях, словам приблизительным, то есть всего лишь приближающимся к искомому, к тому, что есть на самом деле, вот здесь, вот сейчас: к вязам на московском бульваре и кипарису в китайском дворе. А значит, думал я, нужны слова окончательные, всегда неожиданные. Но где их найти, откуда их взять, я не знал, и приготовленный для входа в метро пятак медленно и как-то мерзко согрелся у меня в кулаке.

Павел Двигубский

Мне хотелось поговорить обо всем этом с кем-нибудь, но говорить об этом, по крайней мере в Москве, было не с кем. Несколько раз в ту весну после дзенских посиделок в Библиотеке иностранной литературы встречался я с моим незабвенным (теперь, увы, покойным) другом Павлом Двигубским, которому посвятил я одну из предыдущих книг («Город в долине»), так что нет, наверное, смысла рассказывать о нем здесь подробнее, и всякий раз, так мне помнится, мы шли с ним в соседнее с библиотекой кино «Иллюзион», где тогда показывали фильмы, каких больше нигде не показывали, куда было попасть невозможно, как если бы билетов в это кино вообще не существовало в природе, и куда он, Павел Двигубский, умел попадать благодаря еще школьным знакомствам и связям; насмотревшись Пазолини, насладившись Антониони, шли, теперь уже вдвоем, обычным маршрутом: по Покровскому бульвару и мимо Чистых прудов, столь огромную роль сыгравших и в его, и в моей жизни, и дальше, все так же по бульвару, к той станции метро, которая тогда называлась «Кировской», или еще дальше, к Сретенке, по бульвару вниз – к Трубной; и как ни пытался я рассказать ему о своих дзенских открытиях, о коанах и мондо, о Чжао-чжоу и Линь-цзы с его призывом убить патриарха при встрече, и о самом патриархе, вернее самих патриархах, о Бодхидхарме, пришедшем с Запада, кипарис во дворе, и о не менее важном в истории дзена Патриархе Шестом, о его «Алтарной сутре», которую еще не читал я, потому что не мог раздобыть, но о которой знал уже, что читать ее необходимо и без чтения ее жить нельзя, – как ни пытался я рассказать ему обо всем этом, очень скоро я понял, что говорить с ним об этих вещах невозможно, не нужно (а можно и нужно говорить с ним о том, что интересовало его, Двигубского, на его территории, о Гражданской войне, об Елецкой республике 1918 года, о наступлении Деникина на Москву...), и такой же крах потерпели мои попытки заговорить о Первом и Шестом патриархе со всеми прочими моими друзьями, или приятелями, или просто знакомыми; выяснилось, что говорить об этом невозможно вообще ни с кем или возможно только с тем, кого коснулось дуновение того же духа, того же ветра, той же всепроникающей пустоты. Остальные или смеются, или скучают, и если смеются, то смеются или над тобой, что нестрашно, или, что противнее, над самими историями, над собакой, природой Будды и старой половой тряпкой, но так смеются, как если бы это были просто шутки и шуточки, не имеющие отношения ни к моей, ни к их жизни.

Велосипедное лето

Он быстро пролетел, этот май в Москве, дзенский май; наступило, ему вослед, прекрасное легкое лето в спрятавшейся за своими дюнами курляндской деревне, куда я ездил в юности каждый год; одно из счастливейших лет моей жизни; дзенское лето 1982 года, особенно запомнившееся мне долгими велосипедными поездками по тогда еще очень пустынным дорогам и каким-то даже для Балтики необыкновенным сиянием, громождением облаков. Еще и предположить я не мог, что так сильно будет занимать меня прошлое этих мест, что предстоит мне изучать историю этой Курляндии, историю, в частности и в особенности, гражданской войны в Курляндии, историю балтийского ландесвера, в марте 1919 года изгнавшего отсюда большевиков и в мае взявшего Ригу, что граф фон дер Гольц, главнокомандующий всех германских сил в Прибалтике, и светлейший князь Анатолий Павлович Ливен, создатель и командующий русского отряда при ландесвере, и барон Мантейфель-Сцеге, погибший при освобождении Риги, – что все эти люди, герои исторической драмы, о которой и о которых в то дзенское лето – я и не слыхивал, сделаются для меня со временем – совсем по-другому, но все же не менее важными персонажами (жизни и прозы), чем Бодхидхарма, и Чжао-чжоу, и Шестой патриарх, и патриарх, скажем, Третий (автор будто бы самого раннего, самого древнего дзенского текста); в отличие от только что помянутого моего друга, Двигубского, я не интересовался историей; не знал будущего (никто не знает) и не думал (как с тех пор привык и научился думать) о прошлом; лишь настоящее меня привлекало; это легкое, легучее, хвойное, облачное, балтийское настоящее, в котором я ехал на скрипучем советском велосипеде, по шоссе, повторяющем линию берега, или по шоссе, от берега и от моря уводящем к хуторам, холмам и лугам, в уже окончателюную глушь и заброшенность, или ранним утром поднимался по песчаной, в сосновых длинных иглах и с выступавшими из песка красноватыми корнями тропинке на дюну и, глядя на море сверху, оказывался на одной высоте с горизонтом, откуда бежал к берегу стальной безудержный блеск. Сбежав, в свою очередь, на берег, я сам бросался в ледяные искры, чтобы проплыть, согреваясь, согреться не в силах, десять взмахов в одну, десять в другую сторону. И потом впереди был долгий, еще почти как в детстве свободный день (любой день так же долог, как все твоё детство, сказал кто-то из дзенских учителей...), и сидя снова в дюнах, снова у моря, или на внешней деревянной лестнице того домика, где я снимал комнату, поглядывая, подняв голову от страницы или тетради, на очередные, всегда царственные балтийские облака, их перемещения по небу и над кронами окружающих деревьев, я перечитывал дзенские записи, сделанные весной в Библиотеке иностранной литературы и с тех пор, увы, потерявшиеся, или писал свой как раз и по счастью сохранившийся у меня дневник, где тоже, как вот сейчас я вижу, не раз говорится о Бодхидхарме, или читал что-нибудь, с дзеном не связанное никак, например в то лето впервые «Поэзию и правду», в которой, среди прочего, потрясло меня – так, как только в юности потрясает и переворачивает нас что-то, впервые прочитанное, – то место, где Гете рассказывает о своей привычке вести воображаемые разговоры со знакомыми, которые не только весьма и весьма удивились бы, если б проведали, что он вызывает их призраки для идеальной беседы, но многие из которых, возможно, и не явились бы к нему для беседы всамделишной. Всего удивительнее, пишет Гете, что он никогда не выбирал для этой цели своих близких друзей, но всегда лишь тех, с кем виделся редко, кто жил далеко... Я и сам готов был вести с кем угодно, живущим далеко или близко, даже и вовсе уже не живущим, воображаемый разговор, как теперь веду его с Виктором, или с Тиной, или с Бобом Р., на этих страницах еще не появившимся, или с Павлом Двигубским, или с Александром Николаевичем Воскобойниковым (Александром Воско), или с другими персонажами моей жизни и моих книг, но то, что прокручивалось у меня в голове, казалось мне недостойным ни меня самого, ни этих, пусть призрачных, но подлинных собеседников, казалось сумятицею и сму-

той случайных, докучливых мыслей, мыслей, которые мне и мыслями-то называть было жалко, которые, казалось мне, в своей случайной смутности и смутной случайности не дорастали, не дотягивали до собственно мыслей, не сознавали себя и мне самому сознать себя не давали, отрывая меня от того чистого настоящего, того *здесь-и-сейчас*, к которому я прежде всего и стремился. Овладеть своими мыслями, я думал (и записывал в дневнике), – значит овладеть своей жизнью. Овладеть ни тем, ни другим я не мог. Овладеть не мог, но мог отстраниться. Не мог остановить поток своих мыслей (не-мыслей и недо-мыслей...), но мог со стороны посмотреть на него, как с дощатого мостика или с гнилых мостков на тот ручей, отделявший деревню от дюн, в котором с полнейшей экологической беззаботностью и местные жители, и приезжие интеллигенты имели обыкновение полоскать свои свежевывстиранные трусы и рубашки; приезжие интеллигенты, ясное дело, ни в чем неповинный ручей этот прозвали речкой-вонючкой. Вместе с рубашками и трусами полоскались в нем травы на дне; разрываемые рябью, полоскались лица стиральщиков, покрасневшие от холода руки стиральщиц, местных нимф, залетных Нарциссов; в неизменном великолепии полоскались в нем облака. Не просто облака полоскались в речке-вонючке, но и стиральный порошок, вымываемый из очередной рубашки, очередных трусиков, уплывал по течению белым, призрачным, ядовитым, взрывчатым облачком; рубашка вздымалась, надувалась, тоже пыталась поплыть; рукава ее вытягивались, как будто водяной, еще лучше русалка, на волшебный миг в нее облачалась, в нее облачался. Я был тем, кто смотрел на все это в исчезающем, непреходящем, счастливом *сейчас*; и тем, кто смотрел на свои же по-прежнему путанные и смутные, обращенные или не обращенные к какому-нибудь случайному собеседнику мысли; я научился не совпадать с ними более.

Иронический Петербург

Это было так, как если бы я вдруг нашел в себе ту точку – тот мостик и те мостки, – с которых только и можно было посмотреть на происходящее – проходящее – у меня в голове и сознании, не участвуя в нем, не уплывая вместе с мыльной, мутной водою, оставаясь на берегу, присутствуя в настоящем; и чем чаще случались со мною такие мгновения, тем чище было у меня на душе (в голове и сознании), хотя я уже догадывался (и оказался прав), что когда это облачно-велосипедное лето закончится, ослабеет и обретенная мной отстраненность, способность к отсутствующему присутствию (так скажем). Я надеялся лишь, что совсем ее не утрачу. Лето закончилось, и я вернулся в Москву и осенью оказался вновь в Ленинграде, и не только потому оказался там, что в Москве мне не с кем было, а в Ленинграде было с кем поговорить о Шестом патриархе, но потому что я вообще всю свою молодость только и делал, что убежал из Москвы (и в конце концов убежал из нее навсегда), и потому еще, что нужно мне было (или казалось, что нужно) дожидаться у подъезда или провожать после концерта домой одну довольно равнодушную ко мне даму; а все-таки удивительно (думал я, ворочаясь на кровати), что если и были в моей жизни какие-то дзенские знакомства, то в Ленинграде (по-тогдашнему), и только в нем, то есть буквально ни с одним человеком в Москве не мог я говорить обо всем этом, или обмениваться дзенскими книгами, или хоть поминать в разговоре любимые имена и названия – Бодхидхарму ли, Ланкаватару ли сутру, – зато мог проделывать все это, если хотел, сразу и по отдельности с несколькими очень разными (в ту ночь, когда я лежал в гостинице, в Вейле-на-Рейне, и не мог, и уже не надеялся заснуть, впервые за много лет всплывшими в памяти) персонажами, с которыми судьба и карма сводили меня в начале и середине восьмидесятых годов, во второй, в ту пору много больше, чем первая, любимой мною столице, куда, как уже говорилось, на красных и не-красных, стрелах и не-стрелах, ездил я если не каждые выходные, то раз в месяц или в два месяца, на все праздники и на почти всех каникулах (и как если бы прохладная ироничность дзена чем-то была созвучна надменно-печальной ироничности петербуржцев, столь непонятной и трудной для москвичей).

Громоподобное молчание Будды

Среди каковых персонажей первым появился некий Геннадий, хотя как именно появился он, кто меня с ним познакомил, этого я не могу и в Вейле-на-Рейне, нет, не мог вспомнить. Ему благодаря, во всяком случае, познакомился я затем и с другими персонажами моей ленинградской отрывочной жизни, моих приездов, отъездов... Геннадий этот жил на Невском проспекте, ни много ни мало, в генеральской квартире своих родителей, которых ни разу я, кажется мне, и не видел, только слышал их голоса, их шаги в недоступных мне, но, судя по всему, ликующе-парадных, лакированно-паркетных просторах; голоса и шаги их подступали, бывало, вплотную к той продолговатой, отнюдь не парадной комнате, где мы сидели с Геннадием, как грохот бури, жалобы ветра подступают (в плохом кино) к одинокому маяку (маяку бесплодной учености, светившему на весь Невский проспект), откуда Геннадий не выходил из комнаты, громко шипя, что ему *опять мешают*; буря и ветер смолкали (словно кто-то вдруг выключал звук), сменяясь ровным и мирным шумом Невского под окном. Что касается имени, то имя не подходило персонажу до такой оглушительной степени, что тоже казалось атрибутом какой-то дурной комедии, бездарной инсценировки; все же чуть лучше подходило ему, чем, скажем, Гена, отчего Геной его никогда никто и не называл, но все звали Геннадием, обычно делая, для пушей торжественности, легкую паузу, скользкую синкопу между двумя «н»: Ген-надий, и еще чуть-чуть растягивая «а»: Ген-наадий, так что имя окончательно распалось на две части, причем первая звучала какой-то экзотической приставкой вроде шотландского «мак» или армянского «тер», а вторая отзывалась то ли чем-то ориентальным (Саади), то ли чем-то эстонским (Сааремаа). Ничего эстонского в нем не было, а вот восточное что-то было, что-то слишком сладкое, сахарное в глазах и поведении, кошачье в движениях, в темных, всегда как будто прилизанных волосах; своими сладкими глазами оглаживал он собеседника, рассуждая о Бхагават-гите, о Фоме Аквинском, Фоме Кемпийском, о Лао-цзы и Джуан-цзы, о Шанкаре, Шакьямуни, Шпенглере, Штейнере, Кьеркегоре, о Гуссерле и о Гейдегере (по-советски называемом Хайдеггер), о втором законе термодинамики и разных прочих мадхьямиках; с таким смаком и вкусом выговаривал он эти слова, имена, как будто шоколадные конфеты облизывал. Получалось так, что он знает все иностранные языки и читал все книги на свете. Ни разу не удалось мне выудить (или вынудить) из него признание, что не читал он «Критики чистого разума», хотя из разговора ясно было, что не читал, или что не знает он по-албански, по-венгерски, по-тайски... Но про буддизм вообще, и дзен-буддизм в частности, кое-что знал он, кое-какие книжки, английские и самиздатовские, у него водились, водились и немецкие, которыми, случалось, и ссужал он меня, хотя я в ту давнюю пору по-немецки читал еще плохо. Все, помнится, говорил он о каком-то *громоподобном молчании Будды*, более или менее, отдадим ему должное, в шутку; стоило хотя бы краткой паузе возникнуть в просвещенной нашей беседе, облизывании шоколадных конфет, как тут же объявлял он, что вот оно, громоподобное-то молчание Будды, и как я ни допытывался у него, откуда цитата, толку не мог добиться, всякий раз называл он другой, но всегда знаменитый текст (то Ланкаватара-, то Праджня-парамита-сутру, то вообще Дхаммападу) и всякий раз с таким видом, с таким поднятием благородных бровей над сахарными глазами, как будто стыдно ему становилось разговаривать с неучем, ничего этого не читавшим, а ежели и читавшим, то как? каким позорнейшим образом ухитрившимся не заметить громоподобного-то молчания?

Basso continuo

Лучше обстояло дело с Четырьмя Благородными Истинами и Восьмеричным Путем, на который (которые) Ген-наадий тоже имел обыкновение ссылаться, которые любил толковать. И то, и другое относится к азам любого буддизма, дзена, не дзена ли, так что мне уж не приходилось добиваться от него объяснений. Ген-наадий, впрочем, любил суждения неожиданные, сравнения рискованные. Первая Благородная Истина, провозглашенная Буддой Шакьямуни, заключается, как известно, в том, что жизнь – это страдание (дукха). Но правильно ли переводят санскритское *дукха* именно словом *страдание*? Нет, по его скромному мнению, неправильно, говорил Ген-наадий, сахарными глазами оглаживая собеседника (меня или еще кого-нибудь, если кто-нибудь при нашей просвещенной беседе присутствовал); это санскритское слово, а уж он-то, Ген-наадий, знает толк в санскритских словах, скорее следует переводить как *беспокойная неудовлетворенность* или, наоборот, как *неудовлетворенное беспокойство*, и это мнение разделяют с ним (получалось, что не он разделяет, но с ним разделяют) известнейшие буддологи, санскритологи (он называл с тех пор забытые мной имена), потому что именно неудовлетворенность – это, если будет ему позволено воспользоваться столь откровенно шопенгауэрианским сравнением (с небрежной элегантностью, легким мановением руки и в намеренно придаточном предложении замечал Ген-наадий) – это генерал-бас, basso continuo нашей жизни, сопровождающее все наши поступки, мысли, состояния и настроения. Страдание, конечно, тоже в нашей жизни присутствует, кто ж станет отрицать столь очевидное обстоятельство? – говорил Ген-наадий, сахарными глазами оглядывая свою узкую комнату, словно в поисках кого-нибудь, кто стал бы отрицать обстоятельство столь очевидное. Но в жизни ведь бывают и радости, бывают всякие удовольствия, развлечения и наслаждения... Тут голос Ген-наадиев становился презрителен. Но и самые бурные удовольствия не удовлетворяют нас в полной мере. Беспокойная неудовлетворенность – генерал-бас нашей жизни, то, что присутствует всегда, даже в радости, даже в счастье, с сокрушенным видом, но все так же облизывая свои шоколаднейшие конфеты, говорил Ген-наадий. Всегда чего-то недостает нам, всегда испытываем мы нужду и нехватку. Как в барочной музыке, где ни гармония, ни полифония без basso continuo, как известно мне и всем, не обходятся, так в любой жизненной мелодии, говорил Ген-наадий, наслаждаясь своими сравнениями, различим этот нижний тон недовольства. Только в мечтах... или вот, действительно, в музыке счастье бывает полным.

Неоплатоники, суфии, мейстер Экхард

Ген-наадий разбирался, разумеется, в музыке, как во всем разбирался, причем не только теоретически. По крайней мере утверждал он, что играет на рояле, не просто так себе играет, а целыми часами играет на большом, едва ли не концертном рояле, стоявшем у них в генеральной гостиной, каждый Божий день начинает с исполнения Баховой фуги, а завершает Моцартовой сонатой, но как ни пытался я услышать в его исполнении хоть сонату, хоть фугу, все мои попытки терпели заранее предсказуемый крах: всегда как-то так получалось, что у них гости, что рояль расстроен, да и Ген-наадий не в настроении, что он сегодня четыре часа играл и на клавиши уже не в силах смотреть, уже у него руки болят, и пальцы болят, и голова болит, и вообще все болит. Зато о basso continuo, искусстве фуги и законах полифонии готов он был разглагольствовать сколько угодно, с явным, сахарным наслаждением, нисколько, по видимости, не омраченным той роковой неудовлетворенностью, которая, по его же словам, образует генерал-бас нашей жизни. А в основе неудовлетворенности, с не меньшим и ничем не омраченным наслаждением говорил Ген-наадий, в основе ее лежат жажда, влечение, желание обладать чем-либо, получить что-либо, то есть воля, вечно алчная и всегда голодная воля, пожирающая все вокруг и, если угодно, себя же саму, с явным наслаждением и как бы симпатией к этой себя саму пожирающей воле говорил Ген-наадий, продолжая облизыванье конфет. Неуспокоенное недовольство, говорил Ген-наадий, и в основе оно волящая воля – вот как, по его скромному и скромнейшему мнению, следует переводить Первую и Вторую Благородную Истину (а только об этих двух он, мне кажется, и говорил; ни о Третьей Истине, гласящей, что избавление возможно, ни о Четвертой, сообщающей о путях, к нему ведущих, не упоминал ни разу; избавление не интересовало его...); себя саму пожирающая воля (говорил Ген-наадий, оглаживая глазами комнату, облизывая конфеты), которую Шопенгауэр, как мне и всем известно, положил в основание своей системы, отождествив ее с кантовской вещью-в-себе. Тут-то я и подловил его на блаженном незнании Канта, попробовав (и мы не льком шиты) ввернуть что-то про трансцендентальную диалектику. Бог с ним, с Кантом-то, говорил Ген-наадий, уклоняясь от компрометирующей его темы, теряя сахар в глазах, с Кантом – Бог с ним, а важно, что, вот, Шопенгауэр, Шопенгауэр вообще молодец, Шопенгауэр – это первая попытка, или одна из первых попыток, привить восточную мысль к западной, и этим он замечателен, хотя не следует, конечно, о нет, ни в коем случае не следует и не должно забывать о Гете, разглагольствовал Ген-наадий (с упреком на меня глядячи, как если бы я только тем и занимался, что забывал о Гете); о Гете, авторе «Западно-восточного дивана», где ничего буддистского еще нет, он не спорит, но где зато есть суфизм, мусульманская мистика, если я знаю, что он имеет в виду (я знал, но смутно), а мистика всех религий, культур и конфессий имеет общие отличительные черты, позволяющие (я забыл, кому позволяющие) в своих знаменитых работах (я забыл, каких именно) сравнивать мейстера Экхарда с Шанкарой, суфиев с неоплатониками и Ангелуса Силезиуса с великими дзенскими учителями. Что же до Шопенгауэра, то шопенгауэровское увлечение Востоком вырастает из эпохи Гете, эпохи немецкого романтизма, и не зря уже братья Шлегели, а с ними и Шлейермахер, начали учить санскрит, в котором и он, Ген-наадий, знает толк – еще бы не знать ему толк в санскрите? Я же никакого санскритского толку добиться не мог от Ген-наадия, на все мои робкие вопросы отвечал он обиженным взглядом, потерей сахара в темневших глазах, зато о немецких романтиках поговорить любил, не меньше чем о basso continuo, причем, по мере возможности, не о тех романтиках, о которых обыкновенно говорят в таких случаях, не о Новалисе, не о Тике, уж тем более не о Гофмане, но о романтиках, простым смертным, вроде меня самого, знакомых, как правило, понаслышке, например и в особенности о Фридрихе Рюккерт, на которого он все снова и снова сворачивал. Новалис, конечно, Новалисом, а вот Фридрих Рюккерт... А что Фридрих Рюккерт? А то Фри-

дрих Рюккерт, говорил Ген-наадий (рокоча этим *Фридрих*, треща этим *Рюккерт*, как если бы *Фридрих* был одной, а *Рюккерт* другой конфетой, набитой крепчайшими орехами, склеенными карамелью и медом, вроде того *грильяжа в шоколаде*, который мы героически грызли в детстве, не боясь сломать себе зубы, как не боялся этого и Ген-наадий, перекатывая во рту каждое из этих четырех «р», смакуя, раскалывая, высасывая сладость из каждого...), а то Фридрих Рюккерт, что Фридрих Рюккерт переводил, например, Джалаладдина Руми, великого суфия, вдохновлявшего уже Гете в его «Западно-восточном диване», о котором, как и о самом Гете, не следует, ох не следует забывать, глаголил Ген-наадий, по-кошачьи потягиваясь, – и не просто переводил он, то есть Фридрих Рюккерт, Джалаладдина Руми, великого суфия, великого мистика, но он так переводил его на немецкий, как его уже никто, никогда не переводил ни на один европейский язык, в чем он, Ген-наадий, имел случай убедиться, посвятив несколько тихих и незабвенных для него дней в Публичной библиотеке сличению всех имеющихся там переводов.

Темный деспот, красное дерево

Тут я сдался и объявил, что верю ему во всем. Я ему во всем не верил; ни в чем ему, пожалуй, не верил; а все же это именно он, Ген-наадий, прочитал мне те строки из Джалаладдина (в самом деле) Руми в переводе Фридриха (действительно) Рюккерта, которые мне так часто суждено было впоследствии вспоминать, повторять про себя в разные эпохи и в разных обстоятельствах жизни, которые так много значили потом и для Виктора, вообще-то стихов не читавшего, после того как я процитировал их в разговоре с ним, в Эйхштетте, вечность спустя. Это великие стихи, без сомнения, и я помню (вот это помню точно), как я шел по Невскому, и затем свернул на Большую Морскую и вышел к Исаакию, и прошел под аркой на Галерной (где наши тени, разумеется, навсегда...), и свернул на Английскую набережную, и посмотрел на рябчатую свинцовую гладь Невы, и по бесконечному мосту перешел на Васильевский остров, и покуда шел, выходил, смотрел и сворачивал, все повторял про себя, на ветру, что там, где пробуждается любовь, умирает я, темный деспот. Denn wo die Lieb' erwachet, stirbt das Ich, der dunkle Despot... Вот и пускай оно умрет, это я, пусть он умрет, этот деспот, дай умереть ему в ночи, и вздохни свободно на утренней заре. Du laß ihn sterben in der Nacht und atme frei im Morgenrot... Опять был, как же иначе, серенький петербургский денек; низко, над свинцовой и рябчатой гладью летели рваные облака; дворцы Английской набережной, когда я смотрел на них с другого берега, уже казались крошечными, готовыми навеки пропасть, навсегда потеряться под этим плоским небом, в этой продуманной, геометрической, себя саму сознающей бескрайности. На Васильевском жил в ту пору другой, куда более симпатичный мне персонаж моей петербургско-буддистской жизни, так называемый Васька (в созвучии с островом...), или Васька-буддист, персонаж, с которым познакомил меня Ген-наадий, и причем, вот это тоже я помню точно, познакомил меня в гостях у некоей дамы (ее имени вспомнить я не могу), дамы (как я теперь понимаю) еще молодой, тогда совсем немолодой для меня (когда нам самим двадцать три или двадцать четыре, для нас что тридцать пять, что пятьдесят, все едино), богатенькой (по советским меркам), собиравшей антиквариат, увлекавшейся, как бы уж заодно с антиквариатом, йогой, ламами, экстрасенсами, Гурджиевым, Рерихом, какой-то Шамбалой, какими-то мантрами... одной из тех *сделанных женщин*, каких я немало видел потом в разных странах и городах, из тех богатеньких (они почему-то всегда богатенькие) *сделанных женщин*, все слова, и жесты, и движения (и улыбки, и взгляды) которых озарены изнутри светом самолюбования, сознанием собственного благополучия, собственной избранности и причастности к чему-то возвышенному, чему-то особенному (*темный деспот* никогда не умирает и не умрет в таких женщинах; он-то и светит в них, сквозь них своим *темным светом*...). Квартира ее (на Петроградской стороне) являла собой род бессмысленного музея с хрустальными, понятное дело, люстрами и темными картинами в золоченых рамах, а вот каким образом из своей коммуналки на Васильевском попал туда Васька-буддист, я не знал и не знаю. *Мы* любим красное дерево, сказала дама, приветствуя в моем лице московского гостя, хорошо продуманным жестом тонкой руки обводя обстановку. Кто эти *мы*, она не объяснила. У московского гостя (чем он потом немало гордился) хватило выдержки ответить, что *мы* предпочитаем карельскую березу. *Мы* с Васькой-буддистом, во всяком случае, вышли оттуда вдвоем, долго, поняв друг друга, отплеывались и смеялись, и я точно ни разу, кажется и он ни разу, не бывал потом у любительницы красного дерева, предоставив дружить с ней Ген-наадию (родственные души рано или поздно находят друг друга).

Толстовский нос на гоголевском лице

Как Ген-наадия все всегда называли Ген-наадием, так Ваську-буддиста все всегда называли Васькой-буддистом, как если бы это *буддист* было частью его имени (оно же было частью судьбы), но, разумеется, лишь за глаза называли его так, в лицо говорили *Вася*, с нежностью и почти с придыханием, впрочем, не без иронии (имя ведь само по себе смешное, да и персонаж был смешной; смешной и трогательный сразу, как это нередко бывает). Он был довольно длинный, этот Васька-буддист, с длинными гладкими русо-рыжими волосами, перевязанными, случалось, кожаной ленточкой, и с совершенно неуместным на его узком длинном лице широким, толстым, почти толстовским (очень трогательным, очень смешным), на ветру и на холоде бурно красневшим носом; имел (скорее неприятную) привычку брезгливыми длинными пальцами снимать с себя что-то, с плеча и с груди, со свитера и с рубашки – невидимый волос, незримую паутинку; ходил всегда в потертых, бахромчатых на концах штанин джинсах, застиранных и заплатах, его единственных, обожаемых им. Был, короче, *хипарь*, говоря языком (поганой, прекрасной, погибшей) эпохи, из тех *хипарей*, которых милиция забирает при случае просто так, без всякого повода: негоже, в самом деле, человеку с таким лицом, такой прической, в таких тертых джинсах разгуливать по нашим социалистическим улицам. Жил он в чудовищной коммуналке на одной из дальних линий Васильевского острова, и чем, собственно, занимался, помимо своего буддизма, я так и не понял или не помню, работал, может быть, истопником или дворником, как в то прекрасное, поганое время делали многие. Добравшись по коридору до его комнаты, уже старался я оттуда не выходить; выходить бывал вынужден; и вот навсегда остался в памяти, верней, тут же, как только я вызываю его, всплывает в памяти крик, запиравший дверь в отхожее место, крик прямо живодерский и пыточный (то ли теперь преувеличенный памятью, вообще охотно меняющей пропорции вещей и событий, то ли и вправду такой огромный, каких я больше не видывал), когда-то рыжий, блестяще-белый на исподе загиба, там, где соприкасался он с не менее гипертрофированной скобою, вбитой в косяк, мерзко и резко скрипевшей при тугом западении, затем высвобождении крюка. Все это правда было, тридцать лет назад, в Ленинграде, на одной из дальних линий Васильевского острова, не помню уже какой именно: эта вонючая уборная в утробном конце коридора; эта скоба, этот крюк и этот бачок в поднебесье, с его, тоже рыжею, бесконечною цепью, по которой, сливаясь с ее звеньями и подделываясь под них, медленно, неотвратно, в своем собственном кошмарном сне, вверх и вниз ползали, иногда замирали, затем опять ползли ржавые тараканы. Кошмар заканчивался, когда возвращался я в Васькину комнату. Увеличенная (не памятью, но печатью) фотография Д.Т. Судзуки, висевшая на стене возле книжной полки, всякий раз бросалась мне в глаза, на глаза, словно приветствуя мое возвращение в чистый и лучший мир; замечательная, с тех пор не раз в разных книгах встречавшаяся мне фотография с взвихренными бровями, готовыми улететь за край кадра: левая, черная, бровь уже улетаёт, правая, седая и смятая, еще медлит над стеклышком безоправных очков – слишком современных, слишком модных, почти *пижонских* на этом старом азиатском лице; полагаю, что не я один, но и Васька-буддист, и другие его гости чувствовали символичность этого сочетания западной новизны с восточной архаикой. Оно повернуто в три четверти к зрителю и заполняет собою почти весь кадр, это азиатское архаическое лицо в пижонских очках, в старческих складках, с глазами, тоже подобными складкам, такими узкими, что непонятно, как вообще могут они смотреть (а между тем видно, что они смотрят, спокойно и пристально, себя не показывая, души и мыслей не выдавая), лицо значительное, очень недоброе.

Шестой патриарх, обожаемый нами

Кроме книг по буддизму и так называемой научной фантастики, Васька-буддист ничего, по-моему, не читал. О буддизме читал он все, что мог раздобыть; не только читал он все это, но и ходил в какую-то, тоже, видимо, полуподпольную, полуподвальную группу учить японский язык и еще в какую-то другую, полуподвальную и полуподпольную, учить китайский, и я помню исписанные иероглифами (которые таким образом старался он, похоже, запомнить) школьные тетрадки у него на столе (те советские школьные тетрадки с клятвами пионера и заветами Ильича на обороте обложки), и развешанные по стенам листы с его, Васькиными, упражнениями в каллиграфии, среди которых всегда бывал *дзенский круг*, символ всеединства, или пустоты, или чего хотите (символ, по словам Вячеслава Иванова, только тогда символ, когда он темен и многолик...) – упражнениями, не очень уклюжими, самому Ваське не приносившими, наверное, радости, так что он менял их от одного моего посещения к другому... Героем Васькиным был Шестой патриарх (638–713), которого поминал он так же охотно и часто, как Ген-наадий пресловутое громopodobное молчание Будды, кстати и не совсем кстати цитируя или, скорей, пересказывая «Алтарную сутру» («Сутру помоста Шестого патриарха», как еще называют ее; запись патриарховых поучений, сделанная одним из его адептов; ученые спорят, кем именно), уж не знаю, в каком переводе им читанную, в каком-нибудь, наверное, самодельном (я же купил ее по-французски, в конце восьмидесятых, когда железный занавес прохудился, в Париже); Шестой – и кстати, последний (почему-то после него никаких уже не было патриархов) – патриарх школы дзен (точней чань), которого русские авторы, опустив глаза, именуют Хуэй-нэнь, хотя правильная, похоже, транскрипция ни в каком «э» не нуждается, и который поначалу (как рассказывается в той же «Алтарной сутре») вовсе не был никаким патриархом, а был бедным мальчиком, безотцовщиной, помогавшим старушке-матери (легенды сентиментальны) торговать дровами на рынке; дровами торгуя, услышал он однажды монаха, вслух читавшего другой священный текст – «Алмазную сутру», и как только услышал, сразу снискал просветление (что бы сие ни значило), снискав же оное, отправился к Пятому патриарху, Хунь-женю, жившему на севере Китая в окружении целой тысячи перед ним благоговевших монахов. В монастыре мальчонку приняли плохо; отправили (как в легендах оно и бывает) на задний двор колоть все те же дрова, отмывать рис и мусор выносить на помойку. Опускаю пленительные подробности его пребывания среди негостеприимных монахов, его тайные встречи с Пятым патриархом, понявшим, разумеется, сразу, какие духовные силы таятся в презренном простолудине; перехожу к эпизоду важнейшему, предмету Васькиных восторгов в моей далекой молодости, столь не схожей с молодостью Хуэй-нэня. Дело было, получается, так. Призвав к себе учеников, патриарх предложил им написать по стихотворению, в котором они показать должны были, как понимают они Высшую Мудрость, Природу Будды, или как бы еще ни попытались мы назвать эти неназываемые вещи; тому из них, в чьих стихах увидит он Истинное Понимание Истинной Природы, объявил патриарх, тому и передаст он свое патриаршество, рясу и чашу как символы оного. Ученики, однако, писать стихи отказались – не потому что не верили в свои поэтические возможности, а потому что во всем полагались на старшего монаха, Шень-сю по имени, в котором привыкли видеть будущего преемника Хунь-жэня, то есть грядущего Шестого патриарха; к чему стараться, решили монахи (лентяи...), если Шень-сю все равно даст правильный ответ и получит благословение? Но и Шень-сю сомневался в своих силах, отдадим ему должное; его сомнения, передаваемые сутрой от первого лица, с античной непосредственностью, поражают меня теперь, когда я перечитываю бессмертный текст, своей аналитической тонкостью, психологической глубиной. Если я не напишу стихотворения, рассуждает Шень-сю, то как сможет патриарх оценить степень достигнутого мною понимания истины? Но зачем это нужно? Если я стремлюсь к обретению дхармы, тогда я дей-

ствую из чистых побуждений, тогда все в порядке, но если я всего лишь мечтаю о патриаршестве, тогда дело плохо, тогда я ничем не отличаюсь от обыкновенных людей, привязанных к этому дольному, иллюзорному миру, тогда я, в сущности, самозванец и узурпатор. Но, опять-таки, если я не вручу своих стихов патриарху, я лишаюсь всякого шанса на стяжание дхармы... То есть он сам себя не знает, этот Шень-сю; он открывает в себе разных персонажей; он видит противоречия в своих мотивах и действиях, как видит их любой теперешний человек, если он не совсем уже ослеплен привязанностью к дольному миру. Стихотворение все же было написано; вручить его патриарху совестливый Шень-сю никак не решался. Между тем (и вот эта деталь всегда казалась мне особенно прелестной в своей случайности, своем, значит, правдоподобии) в монастыре как раз велись (скажем так) декоративно-фресковые работы; придворный художник, присланный самим в то время правившим императором Поднебесной, расписывал стены сценами из сутр, из жизни предыдущих патриархов. Вот на этой-то для фресковой росписи приготовленной стене глухой ночью, втайне от всех, и написал сомневающийся Шень-сю свое четверостишие (которое я записываю теперь, не разбивая на отдельные строки, чтобы уж не прерывать плавного течения моей прозы): «Наше тело – это дерево Бодхи, а наша душа (или наш ум) подобна (подобен) ясному зеркалу. Без конца мы вытираем его, чтобы ни одна пылинка на нем не осела». Дерево Бодхи, да будет известно читателю, – это то легендарное дерево, под которым сам Будда Шакьямуни достиг своего просветления (что бы сие, еще и еще раз, ни значило); «дерево Бодхи» в буддистской логике – это и есть Просветление, или Высшая Мудрость, или Природа Будды, или Называйте-Как-Хотите...; переводы же, как переводы всех китайских и японских текстов, весьма сильно разнятся: в некоторых упоминается не только зеркало, но и какая-то подставка для зеркала; в других утверждение (мы вытираем) заменяется призывом (вытирайте, мол, зеркало, или подставку, потщательнее, чтобы ни одна не осквернила их, к примеру, пылинка...) – все это, я думаю, не так уж и важно. Важно, что было дальше. Дальше была комедия в дзенском стиле, разыгранная мудрым, Пятым, осторожным патриархом, Хунь-женем. Прежде всего извинился он перед придворным художником за то, что тот, бедняга, такое долгое совершил путешествие, причем зазря и впустую, потому что эту стену теперь уже расписывать ему не придется, во-первых, потому что формы и феномены вообще иллюзорны, во-вторых же и главное, потому что лучше оставить на стене такие замечательные, путь к спасению открывающие стихи, чтобы все люди, монахи и не-монахи, могли их читать, заучивать наизусть в благоговейном молчании. Перед надписью воскурjali ладан; сам же автор призван был к патриарху для тайной ночной беседы, в которой и услышал то, что, наверное, с самого начала ожидал услышать – что нет в его стихах ни Высшей Мудрости, ни понимания Природы Будды, ни даже Называйте-Как-Хотите; что он стоит на их пороге, возможно; но сам порог только предстоит ему перейти. Пускай попробует сочинить еще что-нибудь... Хуэй-нэнь тем временем (простолюдин, презренный и просветленный) продолжал на кухне заниматься рисом, мыть его, колоть и дробить; какой-то мальчик в его присутствии прочитал строки Шень-сю, повергшие весь монастырь в восхищение. Сразу понял герой наш, что стихи так себе; стихата, а не стихи; сочинил в ответ свои собственные; поскольку грамоте был не обучен, попросил кого-то тоже их написать на стене. Строки его были вот какие (переводы, опять же, разнятся): «Нет никакого дерева Бодхи (в других переводах: у Просветления нет дерева), ясное зеркало нигде не стоит (или: у зеркала нет подставки); поскольку изначально ничего не существует, где же может осесть пыль?» Восторгу прочитавших это монахов (как и нашему с Васькой-буддистом восторгу) границ и пределов не было; все-таки Хунь-жень, осторожный и мудрый, стер сапогом надпись, боясь, что завистники, дружки и поклонники отвергнутого Шень-сю навредят его, Хунь-женя, истинному, уже им избранному преемнику (из чего мы делаем важнейший для нас вывод, что дзен и в те легендарные времена не свободен был от земных страстей, тяжелых и темных...); в тайном и опять же ночном разговоре объявил Хуэй-нэня Шестым патриархом, передав ему свою ряску и чашу для сбора милостыни как символы

этого самого патриаршества и повелев бежать в ту же ночь на юг, вон из монастыря, прочь от завистников, соперников и врагов.

Свобода – сейчас

А ведь если не стирать пыль с зеркала, то зеркало так и будет в пыли. Все же нам нравилось – и как нравилось! – только второе стихотворение, ответ Хуэй-нэня, призыв к мгновенной свободе, мгновенный переход и перевод разговора в другое измерение, в другую, парадоксальную плоскость. Никакого зеркала нет, и пыли нет, и тряпки нет, чтобы стирать ее, и стирать, значит, нечего, не с чего (незачем, некому, нечем...), я свободен, и ты свободен, и на хуэй советскую власть. Дзен и был для нас призывом к свободе; ничем другим, пожалуй, и не был... Еще, по-моему, и в голову не приходило нам, или только в голову приходило, но в душу не заходило к нам, что если пыли нет, зеркала нет, то и нас самих нет. Как же нет? Вот мы; вот мы сидим у Васьки-буддиста, в коммунальной комнате, под незримым взором взвихренного Д.Т. Судзуки, попивая чай из каких-то случайных чашек, еще без намека на чайную церемонию, японскую или китайскую (чайные церемонии начнутся позже, вместе, кажется мне, с перестройкой), и я вновь, в который раз говорю Ваське, что парадоксы неразрешимы, что делать ничего нельзя и не делать тоже нельзя, стирать пыль нельзя, но нельзя и не стирать ее с зеркала. Можно стремиться к политической свободе, но невозможно, в сущности, стремиться к свободе внутренней. Стремление к свободе отрицает ее саму. Стремление к свободе превращает ее в некую цель. А свобода не есть цель. Свобода есть выход из того мира, в котором вообще могут быть какие-то цели. Свобода бесцельна. Свобода всегда – сейчас и всегда – уже. Уже есть, уже дана, уже здесь... Неужели вправду я говорил так Ваське-буддисту каким-нибудь желтым питерским днем, в восемьдесят, к примеру, третьем, в восемьдесят четвертом (орвелловском) году? Конечно, я говорил так, я думал об этом постоянно, прощаясь с Васькой и по дороге к нему, и на Васильевском острове, и на Английской набережной, и на площади у Исаакиевского собора. Мы выросли... мы тогда еще даже жили, хотя он клонился уже к концу, этот мир, но все-таки: мы жили и выросли в мире задач и целей, в мире, повернутом в будущее, в мире, где все всегда и с самого детства что-то должны были делать ради еще чего-то, чего еще не было, что было обещано, чего никогда не будет. Мы не верили никаким обещаниям; мы им с самого начала и с самого детского сада не верили; и это великое счастье наше, что мы не верили им с детского сада, что не пришлось нам и утрачивать веру, разочаровываться и пересматривать основы мировоззрения (как пришлось это делать столь многим, родившимся на пятнадцать или на двадцать лет раньше нас). Мир, однако, в котором мы жили и который нам так не нравился, оставался миром, обращенным и повернутым в будущее; мир, по привычке и старой памяти, предлагал нам волевое усилие как решение всех проблем, спасение от всех бед. Но мы и в это уже не верили; мы читали и слышали о даосском не-деянии, которое ничего не делает и ничего не оставляет незавершенным; читали и Догена Дзендзи, основателя японского дзена и школы Сото (одной из двух важнейших школ дзен-буддизма), и если его самого еще не читали (взять было негде, да и понять его трудно), то читали о нем в наших книгах (у Судзуки еще раз и у Алана Вотса опять-таки), знали, следовательно, что впервые садящийся на подушку уже просветлен, что просветление не где-то там, в будущем, но что оно – вот, сейчас и здесь, здесь и сейчас, и что поэтому стремящийся к нему никогда его не достигнет. Но ведь и не говорит же Доген, что раз так, то и на подушку садиться не надо (совсем наоборот, как впоследствии выяснилось, в дзен-буддизме школы Сото *сидят* еще больше, дольше и упорнее, чем в другой школе, школе Риндзай). Ничего делать нельзя, но и ничего не делать нельзя, и значит, как-то нужно делать, не делая. Но как это – не делая, делая, – мы не знали, а потому ничего и не делали. Мы читали наши чудные дзенские книжки, учили, по крайней мере, Васька учил, в одном подвале японский, а в другом подвале китайский, рисовали, я тоже пробовал рисовать черной тушью иероглифы и круги, но на этом все и заканчивалось. Нам важен был только призыв к свободе – сейчас и здесь, вот здесь, вот сейчас, – но что свобода сама по

себе может требовать усилий, что даром она не дается – эта простая мысль не то что не приходила нам в голову, но и в душу не заходила, и даже в головах не задерживалась. Ну в самом деле (еще и еще раз), если свобода требует усилий, значит, она снова превращается в цель, значит, она уже не сейчас и не здесь, значит, ее уже нет, вообще нет. Она должна даваться даром и возникать сама собою, без всяких усилий. Но даром она не давалась, сама собою не возникала или возникала, давалась лишь на внезапные, краткие, благословенные мгновения – на набережной, на сильном ветру, когда шел я к Ваське или от Васьки, в бесконечный, попитерски, вечер, и невозможно-низкое, полярно-яркое солнце стояло и стояло над городом, и в стеклянном слепящем свете все искрилось, все полыхало; расплавленным оловом полыхала крутая пена перед моторной лодкой, маленькой и счастливой, потерявшей в блестящей безмерности; полыхали дворцы; горели, пылали редкие лица прохожих, сметаемых ветром с моста; и хотя, уж кажется, большего нет несходства, чем между курляндской речкой-вонючкой и петербургской имперской рекою, почти так же, как на те порошковые облачка, те рукава русалочьих рубашек, пытавшихся уплыть по течению – но с еще более повелительным, несомненным и непреклонным ощущением силы, восторга, ярости и ясности настоящего, – смотрел я на все это ледяное, стальное, этот катер, этих обезумевших чаек и так же, не совпадая с ними, на собственные мысли, не-мысли, которых, впрочем, почти и не было во мне, у меня, как будто этот безудержный ветер просто вынес, вымел их из моей головы... Все же это чистое присутствие в настоящем (лейтмотив моей молодости) давалось мне хотя и вправду даром, но безотрадно редко, а в остальное время была, как всегда, как у всех, более или менее случайная жизнь с ее смутными мыслями и страстями, с ее не подвластными нам самим чувствами, ее нам вообще неподвластностью, ее к нам безразличием, ее печалью, ее тоской, ее редкими радостями, и той *беспокойной неудовлетворенностью*, которую пристрастный к неожиданным сравнениям Ген-наадей провозглашал генерал-басом, basso continuo человеческого существования. Парадокс по-прежнему не разрешался; а вот (тоже несложная) мысль о том, что он так никогда и не разрешится, что умом его не понять и аршином уж тем более не измерить и что решать его нужно совсем иначе – сидя, например, в позе так называемого лотоса, или полулотоса, или уж как получится, на черной подушке, преодолевая боль в ногах, временами, как все дзен-буддисты знают, невыносимую, следя за своим дыханием и пытаясь ни о чем не думать, позволяя мыслям пройти, как облака проходят по чистому и пустому небу (метод, тоже не гарантирующий решения, но какой-то метод, какой-то, для кого-то возможный, путь...) – эта очень несложная мысль и правда, теперь мне кажется, не приходила нам ни в душу, ни в голову; просто неоткуда было прийти ей.

Дзен на Юпитере, дзен на Луне

А почти ничего и не пишут о дза-дзене, сидячей медитации, ни Алэн (Алан) Ваттс (Уотс, Вотс), ни Д.Т. Судзуки, так сильно и не знаю, благотворно ли, повлиявшие на первоначальное восприятие дзена в Европе, в Америке, даже еще на восприятие дзена в Америке и в Европе в пятидесятые-шестидесятые годы, в эпоху битников и хиппи – эпоху, в которой в начале восьмидесятых мы как будто застряли, в наших московских квартирах, в наших питерских подвалах и коммуналках, за железным занавесом, в советском, ненавистном нам, захолустье. Где-то, мы понимали, есть живой дзен, где-то в Японии, где-то, хотя мы не очень и задумывались об этом, в Америке, но все это было для нас как дзен на Луне и дзен на Юпитере, и никаких сведений о дзенских группах, сангхах в Америке и в Европе у нас просто не было, даже и предположить не могли мы, что уже давным-давно существуют по всему миру разнообразные дзенские центры – сан-францисский дзенский центр, к примеру, основанный еще в начале шестидесятых годов Сюнрю Судзуки (*другим* Судзуки, которого не следует путать с Судзуки Д.Т.; Судзуки, я так понимаю, в Японии, как в России Кузнецовых и в Германии Мейеров), монахом школы Сото и автором одной из лучших, наверное, дзен-буддистских книг XX века «Сознание дзен – сознание начинающего», переведенной, кажется, на все языки этого иллюзорного мира (после краха Совдепии, как недавно выяснил я, и на русский); ничего не слышали мы ни об этом центре, ни о монастыре в Тассахаре, в глухих калифорнийских горах, к югу от Сан-Франциско, основанном в середине шестидесятых все тем же Сюнрю Судзуки; поскольку же ничего не слышали обо всем этом, то и не спрашивали себя, что, собственно, делают во всех этих центрах, группах, сангхах и монастырях; а там не просто читают разные книжки, и забавляются дзенскими парадоксами, и пробуют свои силы в каллиграфии или, как это делал один наш общий с Васькой приятель, в благородном искусстве игры на японской флейте сякухати, но именно дза-дзен (дза-дзен и еще раз дза-дзен...) там стоит в абсолютной, непререкаемой главе угла, в чем, опять же, впоследствии, лет примерно через пятнадцать, мне на собственном (для спины и ног мучительном) опыте пришлось убедиться.

Голубые горы, похотливый шофер

Дзен был недоступен и далек, другие формы буддизма были ближе (не в духовном, но в пространственном смысле); помню вечер, когда я застал у Васьки (к нему, как в те годы это водилось, запросто можно было прийти без звонка) некую (кажется) Аню, некоего (точно) Диму и как они все втроем, перебивая друг друга, рассказывали мне о своей поездке в Бурятию прошлым летом, с кучей очаровательных приключений, незабвенных подробностей и попутчиков. Дима занимался фотографией (именно – фотографией!), а также игрой на, как только что было сказано, японской флейте сякухати; жил в Парголово, так что ехать к нему приходилось на электричке (с Балтийского вокзала; я потом бывал у него пару раз, с разными людьми, в разные годы); длинноволос был не менее Васьки-буддиста; был, что с мужчинами редко случается, зеленоглаз; и если не сплошь и напрочь зеленоглаз, то все же, или так мне помнится, зеленые огоньки и зеленые искорки нет-нет, а вдруг мелькали в его глазах, то серых, то вдруг почти голубых. Все это я теперь придумываю, быть может; а вот на флейте сякухати, это точно, играл он; причем, казалось мне, играл замечательно, хотя мне не с чем было игру его сравнивать, и Ваське-буддисту тоже, наверное, не с чем; все равно, всякий раз, когда мы ее слышали, игра его производила на нас обоих впечатление сильнейшее. Он долго примеривался к флейте губами, шевелил ими, прежде чем заиграть, и когда начинал играть наконец, то получался один-единственный, одинокий и очень долгий звук, глухой и сухой, понемногу и не сменяясь никаким другим, вторым звуком, затихавший и замиравший, создавая вокруг себя свою собственную, почти зримую тишину. Что до Ани, то от Ани, к стыду моему, остались в памяти только мелкие прыщики у нее на лбу и на шее... Чтобы прикоснуться к бурятским буддистским источникам, надо было неделю тащиться до Улан-Удэ в плацкартном вагоне (на купе денег не было, да и билетов, наверное, не купить), затем на попутных грузовиках добираться до какого-то Иволгинского дацана, и это ужасно было весело, хотя мощно татуированный водитель последнего грузовика и попробовал (что уж скрывать теперь истину?) умчаться в эротические дали вдвоем с Аней, не дожидаясь Васьки и Димы, когда они остановились (по нужде, прямо скажем) в (желто-красной, с голубым сиянием гор на горизонте) степи, но те не растерялись, запрыгнули в кузов, так что никаких эротических далей не досталось водиле, и жить в дацане им было негде, ночевать пришлось в соседнем поселке, в условиях с гигиенической точки зрения довольно сомнительных, но все-таки было весело, и на обратном пути оказались они на Байкале, и, фотографируя Байкал и берега его с лодки, на которой решили они показаться, Дима-фотограф (он честно признает это, а что скрывать, если вот два свидетеля?) ухитрился упасть в ледяную колючую воду – просто вдруг покачнулся и плюхнулся со скользкой кормы, но выплыл, иначе бы не сидел сейчас здесь, не пил чай, и даже свой драгоценный фотоаппарат успел, падая, бросить в Васькины руки, и если я хочу, я могу поехать на другой год вместе с ними, они собираются ехать на целый месяц, и я сразу решил никогда и ни в коем случае ни в какое Улан-Удэ, ни в какой поселок Иволгино ни в каком плацкартном вагоне не ездить, и потом, я помню, долго повторял про себя, возвращаясь от Васьки-буддиста пешком по набережной мимо университета, глядя – в который раз – на серую рябь Невы, Исаакий, дворцы на другом берегу и рваные тучи над ними, – долго, как своего рода мантру, уж если угодно, повторял про себя, что есть – *есть иволги в лесах и гласных долгота*, и что я слышу – *я слышу иволги всегда печальный голос, и лета пышиного приветствую уцерб*, и думал, тоже помню отчетливо, что Бодхидхарма не Бодхидхарма, Шестой патриарх или не Шестой патриарх, а вот эти строки мне всякого буддизма важнее, всякого дацана нужнее.

Гейдеггер и девицы

По этой набережной, сперва по ее дальней части, напротив Адмиралтейских верфей, глядя на краны, глядя на корабли, приближаясь затем к Петербургу парадному, глядя, значит, опять на Исаакий, на Зимний дворец, шли мы однажды с Ген-наадием, в тот единственный, по-моему, вечер, очень весенний, когда вместе оказались у Васьки-буддиста, в Васькиной, где Ген-наадий ни разу, наверное, и не бывал до тех пор, коммуналке; визит, никому не принеший радости: ни гостям, ни хозяину. Присутствовали все те же, или так мне помнится (так мне помнилось и так вспоминалось, в гостинице и в Вейле-на-Рейне): тот же Дима-фотограф (со своей сякухати), та же (со своими мелкими прыщиками) Аня, еще какие-то буддийствовавшие, или полубуддийствовавшие девицы – девицы, которые, когда я старался вспомнить их тридцать лет спустя, перекатываясь с бугра на бугор, как будто и сами пытались, помогая мне, выступить из окружавшей меня темноты, из промелька и путаницы отсветов, пробежавших по потолку и по стенам, со своими именами (Марина, кажется, и Нина, возможно), своими чертами и обликом (чей-то бюст, чьи-то бусы). Ген-наадий, облизывая конфеты (самые шоколадные), рассуждал о дзене и Гейдеггере (по-советски называя его, разумеется, Хайдеггер). Гейдеггер в ту достопамятную эпоху был явлением мифологическим, объектом обожания, возвышавшего душу адепта, предметом патетического преклонения, помогавшим преодолеть невзгоды подневольного бытия (почти как Гемингвей – Хемингуэй по-советски – в другой среде и на двадцать лет раньше); каковое обожание весьма и весьма облегчалось почти полным отсутствием переводов. Гейдеггер, как известно, бывает ранний и поздний. Почему-то модно в ту пору было увлекаться именно поздним, хотя я сам предпочитал все-таки раннего, штудирова с ныне невообразимым уже прилежанием «Бытие и время», доставшееся мне в очередной блеклой ксерокопии (была эпоха ксерокопий, и ксерокопии были блеклыми...) от одного московского моего приятеля, с тех пор, в отличие от меня самого, так, кажется, и не утратившего пристрастия к сим сомнительным и сложным материям. Но в моде, повторяю, был Гейдеггер поздний, которого не знаю, читал ли кто, читал ли Ген-наадий, можно ли читать вообще. Начавши рассуждать о его якобы близости к дзен-буддизму, Ген-наадий, мне помнится, ударился в то торжественно-таинственное воркование, проникновенное прорицательство, которое столь свойственно было самому (в особенности позднему) Гейдеггеру, породило столько пародий; прямо облизывался от удовольствия, то разбивая ошалевшие слова на удивленные слоги, то, наоборот, сшибая их друг с другом, протыкая дефисами (при-сутствие, тут-бытие...). Сперва пытался я ему возражать. В дзен-буддизме все самое важное происходит по ту сторону слов, так я или примерно так говорил, его же гейдеггерианские воркованья и волхвованья остаются, при всех дефисах, только словами, необязательными, как все слова. Слова – *о чем-то*, а дзен – само *что-то*... Ни в малейшей мере не интересовали Ген-наадия мои аргументы; не обращая на них внимания, заводя свои сахарные глаза, пустился он в разглагольствования уже беспробудно заумные, со все более надменными ссылками на отрицательную – или, что то же, но звучит шоколадней, апофатическую – теологию, лингвистику, семиотику, на Дионисия Ареопагита, Гуссерля, Витгенштейна, Плотина, Прокла, Ямвлиха, Николая Кузанского, даже, кажется, Готлиба Фреге и какой-то таинственный *денотат*. Слова эти такой, видно, сладостью наполняли рот его, что почти уже он в них захлебывался; возражать ему сделалось невозможно; никто и не возражал, все курили. Курил Дима-фотограф; курила Аня; буддийствовавшие девушки тоже курили; я сам курил еще в ту мифологическую эпоху; некурящий Ген-наадий отмахивался от нашего дыма, как от досадного, не достойного тех высот, на которые взбиралась его бурная мысль, проявления и порождения низменной нашей природы; да не куривший, или очень редко куривший, Васька-буддист, которому, очевидно, и в голову не приходило запретить нам заполнять буро-серым клокастым дымом (кто-то, кажется, курил папиросы или это *косяк* был?) его ком-

нату, под незримым, строго-снисходительным взглядом Д.Т. Судзуки, подходил к окну, открывал форточку, впуская, вдыхая морской влажный воздух. Из этого воздуха, этого клокастого дыма, в которые всматривался я спустя тридцать лет, в гостиничном номере, выплыла, наконец, обретая очертания, но не в силах обрести имени, одна из девиц (то ли Нина, то ли Марина...) с роскошным, примечательнейшим бюстом на скорее худом, нескладном, костлявом теле и красными огромными бусами на этом бюсте, затем и навешанными, чтобы этот бюст подчеркнуть, и выделить, и привлечь к нему восхищенные взоры. Что вполне удалось ей с Ген-наадием, к растущему раздражению Димы-фотографа. Ген-наадий красовался просто-напросто перед этой девушкой (Ниной все-таки или Мариной?), красовался и перед другими девушками, и перед Аней с ее злосчастными прыщиками, заодно уж и перед всеми нами, без толку и умолку демонстрируя нам свои необыкновенные познания, облизывая свои шоколаднейшие конфеты (гуссерлианский грильяж, схоластическую халву, марципаны мейстера Экхарда...). Что греха таить, я и сам, наверное, чуть-чуть красовался перед девушками, пытаюсь возражать Ген-наадию по поводу дзена и Гейдеггера. Фашист был ваш Гейдеггер, заявил вдруг (с зелеными искрами в голубых глазах) Дима-фотограф, тоже, конечно, произнося по-советски Хайдеггер и обнаруживая познания, которых ни я, ни, наверное, Ген-наадий не предполагали в нем. Ген-наадий отмахнулся от его слов, как от папиросного дыма. А... пустое, бросил он, всем лицом сморщившись, скривив рот, как будто выплевывая конфету, не столь уж сладкой оказавшуюся на поверку. Гейдеггер – величайший философ XX века; все прочее – совершенные пустяки. Мало ли кто кем был, один фашистом, *другой*... Ген-наадий не договорил, помнится, кем был другой; на дворе и на дальних линиях Васильевского острова стоял ведь еще какой-нибудь восемьдесят третий или четвертый год, а буддийствующих девушек видели мы впервые. Этот фашизм составляет в лучшем, вернее худшем, случае семь, а то и пять процентов от всего Гейдеггера, вновь обретая свою сладкоглазость, сладкоголосость, рассуждал Ген-наадий, красуясь перед бюстом и бусами, к растущему раздражению Димы-фотографа, а на остальные девяносто пять, или уж ладно, уж так и быть, девяносто три процента Гейдеггер – величайший философ XX века, и не стоит слишком много времени уделять его злосчастным политическим заблуждениям и неудачным речам в качестве ректора фрейбургского университета, если присутствующие знают, что он имеет в виду.

Пуруша и пудгала

Одному из присутствующих суждено было оказаться во Фрейбурге всего через каких-нибудь пять лет, или четыре года, осенью 1988-го – мой первый немецкий город, куда автостопом приехал я из Парижа, через Эльзас, с остановкой в чудном, или он показался мне таким, маленьком городишке Селеста (по-немецки Шлеттштадт), не столь знаменитом, как с ним соседний Кольмар, но тоже славном и романским своим собором, и готической своей церковью; еще и не подозревал я об этом, слушая в Васькиной коммуналке Ген-наадиевы глаголения, Димины возражения; еще и предположить не мог, что буду пить кофе с моими попутчиками по автостопу через четыре года или пять лет в кафе на главной площади, в Селеста и Шлеттштадте, в последний раз перед германской границей... Брежнев уже умер, но перестройка еще не наметилась, и вино «Прибрежное», предмет наших насмешек, продавалось еще повсюду. При Брежневе что вы пили? При Брежневе мы пили «Прибрежное»... Кто курил, тот и пил; пил, большими глотками, Дима-фотограф, откидывая назад свои длинные волосы, меняя оттенок глаз; пили, похихикивая, буддийствовавшие девицы. До «Прибрежного» не снисходил, ясное дело, Ген-наадий, продолжая свои разглагольствования. А он не понимает, объявил Дима-фотограф, пуская дым Ген-наадию прямо в лицо и затем давя окурки (зеленой, из толстого стекла, до краев переполненной) пепельнице (обгоревшей спичкой отодвигая в сторону другие окурки, чтобы открылось свободное место, где можно было надавить подлеца), – нет, не понимает он, кто, собственно, Ген-наадия поставил судьей и кто поручил ему определять какие-то кретинические проценты. Конечно, если человек так легко бросается не ведомыми никому именами, *всякими фрегами* (к шумному удовольствию буддийствующих девиц проговорил Дима-фотограф), то он и думает, что все прочие должны ступешеваться, а вот он, Дима-фотограф, совсем не думает так. Он думает, что Ген-наадий ни хрена и ни горькой редьки не смыслит в буддизме. В *сигнификатах и денотатах*, возможно, и смыслит он что-нибудь (девицы были в восторге) – тут Дима-фотограф с ним спорить не станет, потому что плевать ему, Диме, на сигнификаты заодно с денотатами, но в буддизме – нет, ни хрена; и вовсе не он, Ген-наадий, а вот они, вот Васька-буддист, вот Аня, вот он, Дима-фотограф, ездили в Иволгинский дацан, до Улан-Удэ в плацкартном вагоне, и догоняли похотливого водилу на фоне голубых гор, в желто-красной степи (восторг девиц возрастал), и тонули в байкальских колючих водах, и вот Васька-буддист ходит в один подвал учить японский язык, а в другой подвал учить китайский язык, и упражняется в каллиграфии, пока не совсем удачно, и рисует, пока не совсем совершенные дзенские круги на стене, и он сам, Дима-фотограф, занимается благородным дзенским искусством игры на флейте сякухати (какую флейту, в подтверждение своих слов, извлек он из матерчатого футляра), и дзенским, в сущности, искусством фотографии, а Ген-наадий ничем, похоже, не занимается, и в плацкартном вагоне-то, небось, никогда не ездил, и в таких гигиенических условиях, в каких они ночевали в Бурятии, ни разу в жизни, поди, не оказывался; Ген-наадий умеет только болтать с важным видом, и вопрос еще, что он в самом деле читал из того, о чем так лихо распространяется. И вообще... Вообще что? Вообще ничего. За *вообще* последовал глухой, таинственный, тростниковый звук сякухати, звук протяжный, медленный, одинокий, создающий вокруг себя свою собственную тишину – и все-таки звук издевательский, к очередному восторгу буддийствовавших девиц. Но и Ген-наадий не давал себя сбить с панталыку; Ген-наадий, делая вид, что обращается только ко мне и Ваське – обращаясь на самом деле к бусам и бюсту, – продолжал обмусоливать имена, из которых каждое встречалось теперь в штыки и стрелы непритязательных насмешек (какой-такой *Пуруша*, какая-такая *пудгала*, что за пугало выискалось?); Дима дергал вверх своей флейтой, как будто дым по-прежнему пуская в Ген-наадиево лицо; Соссюр, прости Господи, простонала одна из девиц, в дудку, тоже, вытягивая злобные губы; Соссюр, Соссюр, просюсюкали осталь-

ные девицы. Вот оно как, в высших сферах-то, сплошной, посмотришь, Соссюр... А Ген-наадий не унимался, сам и в свою очередь обсюсюкивая Соссюра, притворяясь, что не замечает атаки. Становилось уже очень противно. И потому в особенности противно (думал я, перекачываясь с бугра на бугор, впервые за десятилетия вспоминая ту давнюю сцену), потому противно в особенности, что во всем этом чувствовалась ненависть классовая – долго сдерживаемая, вдруг прорвавшаяся ненависть жителей Парголова, обитателей коммуналок, к советскому барчуку, каковым Ген-наадий, конечно, и был (как до некоторой степени, что греха таить, был им и я). Они ездили, мы и вправду никогда не ездили ни в каких плацкартных вагонах... Мне было жаль Ген-наадия (вся вина которого состояла в беззломном снобизме да в желании покрасоваться перед бюстом и бусами), а вместе с тем (отчетливо это помню, со стыдом вспоминая) я чувствовал в себе пробуждающийся соблазн поддаться общей злобе, направленной на него, как бывало в школе, когда три подонка, игравшие в «гестапо» (для советской школы середины семидесятых игра самая подходящая), набрасывались на свою привычную жертву – еврейского мальчика с вечно измазанными в чернилах пальцами (этот мальчик в далеком последствии сделался полковником израильской армии; я даже видел его фотографию, в полном военном великолепии), как тогда, в ненавистном, забытом школьно-советском детстве, вдруг, ужасаясь себе, улавливал в самой тайной, самой темной глубине души рождающееся (шевелиющееся там, в глубине, как некая склизкая тварь, змея или жаба) желание присоединиться к подонкам, поучаствовать в травле; желание, которому я, разумеется, не поддавался; зато с радостью, с чистой (или не совсем чистой?) совестью поучаствовал в коллективном, чуть не всей школой, избиении самих трех мерзавцев, прекратившем их замечательную игру навсегда... Откуда злоба в человеке? – говорил Ген-наадий, когда мы шли с ним по набережной лейтенанта Шмидта, глядя на верфи, дальние краны гавани. Откуда она берется, почему так вдруг прорывается? – спрашивал (не меня, но себя же... или верфи и гавань) Ген-наадий, знаток Соссюра и денотата, переводя эпизод в плоскость абстрактных рассуждений, показывая, что лично его это не касается, он не задет, не обижен, он *изучает*. Но уже не было у меня сил слушать Ген-наадиевы глаголения о зле в манихействе и зле у Блаженного Августина, о зле активном, действенном, дьявольском и, наоборот, о зле как о простой недостатке – блага и бытия, – а хотелось только смотреть и смотреть: на верфи, и краны, и большой – огромный – пароход с красным корпусом, острым носом и белой рубкою, явно приплывший из мифических стран, в одиночестве стоявший у набережной, в свечении воды, в весенних питерских нескончаемых сумерках.

Смуглая леди, страшные полыньи

А было ли что-то у Васьки-буддиста с Аней или у Ани с Димой-фотографом? – спрашивал я себя в гостинице и в Вейле-на-Рейне, прислушиваясь к проникавшему сквозь плотные стекла морскому прибою автострады и удивляясь себе, не понимая, почему я не спрашивал себя или еще кого-нибудь об этом тогда, ту вечность назад, когда все эти персонажи для меня существовали в реальности, не только в воспоминаниях. Я слишком занят был своей собственной, с самого начала безнадежной любовью, которая, собственно (помимо отрадной возможности поговорить с Васькой о Шестом патриархе или о сутрах Праджня-парамиты с Ген-наадием) и заставляла меня ездить в (по-тогдашнему) Ленинград едва ли не каждые выходные – так занят был ею, что о чужих любовях не думал; по крайней мере и как это ни покажется странным, не думал, главное – не хотел думать о них в Ленинграде, хотя весьма и весьма способен был думать о них в Москве. В Москве пускался я – отчасти и от отчаяния – во все эротические тяжкие, в Ленинграде был чист, строг и холоден. Ни на что я уже не надеялся, тем не менее продолжал ездить, добивался глупейших свиданий с предметом моего обожания, черноокой и смуглой леди моих ненаписанных сонетов (назову ее Л.), смотревшей на меня, как я теперь понимаю, да и тогда догадывался, как на мальчишку, одного из многих, в равной мере ей не нужных поклонников. Я же, ни на что не надеясь, все пытался доказать ей, что я сам по себе. А она и не спорила с этим, просто ей это было совершенно не важно, не нужно. Все-таки она позволяла мне сопровождать ее в филармонию, где ни одного концерта, мне казалось, не пропускала; провожать ее после концерта домой. Она была ровно на двенадцать лет меня старше – мы родились с разницей всего в одну мартовскую неделю, и хотя оба ни в какие гороскопы не верили, это нас забавляло, вернее, забавляло ее (и то, что это – по крайней мере и на худой конец – ее забавляло, было уже само по себе – для меня – утешением и достижением), мне же казалось, не совсем всерьез, знаком нашей астральной, или кармической, или еще какой-нибудь, все равно какой связи, в чем я и пытался убедить ее по всегда разной, всегда путаной дороге из филармонии на Исаакиевскую площадь, где в ту пору она жила. Никогда почему-то не шли мы просто по Невскому и затем, например, по Морской (Большой или Малой), но всякий раз сворачивали с Невского или направо, или налево, и если сворачивали налево, то быстро выходили (мимо Казанского собора, по Гороховой улице, по набережной Мойки) к Исаакию, если же (что чаще случалось) сворачивали направо, то шли кружным и долгим путем – не шли, а гуляли – вдоль Екатерининского канала, и через Михайловский сад, и вдоль Лебяжьей канавки к Неве, и затем по набережной обратно; и, значит, ей нравилось гулять со мною по вечернему городу, и даже, наверное, слушать мои разглагольствования о том и о сем, которыми я пытался произвести на нее впечатление (что, как я догадывался тогда и понимаю теперь, было заранее обречено на провал: смуглая моя леди сама была вполне себе интеллектуалка, и от мужчины ей не того было надобно), слушать и мои, тоже ее забавлявшие (но и только забавлявшие), пересказы дзенских коанов, и рассказы о моих буддистских приятелях, познакомиться с которыми вовсе она не стремилась (только однажды побывав со мною, впрочем, уже под занавес, на домашней выставке, устроенной Димой-фотографом); не раз, во время этих прогулок, говорили мы с ней – и даже она сама, забавляясь, играя со мною, заговаривала, случалось, о том, как это странно, что вот мы оба – только она на двенадцать лет раньше – вошли в этот, сформулируем по-шопенгауэровски, мир пространства, времени и причинности под знаком Рыб и в китайский год, *sit venia verba*, Крысы. Ну и что, собственно? Да, быть может, и ничего; однако я верил или старался себя убедить, что никто еще не понимал меня так или никто не сумел бы понять меня так, как она, если бы захотела понять (она не хотела), и что я сам, хотя и не все понимал в ней – даже наоборот, ничего в ней, пожалуй, не понимал, и она оставалась для меня той загадкой, какой, покуда мы не разлюбим, остается

для нас предмет нашего обожания, нашего восхищения, – но что я готов был бы эту загадку разгадывать, читать эту книгу и разбирать эти тайные письма так внимательно, с таким усердием, как и с каким не читал и не разбирал никогда никаких, если бы она мне позволила (она мне не позволяла). И все-таки мы сворачивали с Невского после очередного концерта, скорее направо, а не налево, и значит, гуляли подолгу, и ей это, значит, нравилось, и рожденные под знаками водными вновь и вновь выходили к воде, к дробящимся огням на воде, что в Петербурге, как всякий знает, случается неизменно, неотвратно, но вовсе не обязательно должно случаться в Москве, а именно так случилось в тот ее единственный приезд в перво- и краснопрестольный град, когда она разрешила мне с нею встретиться; в московский морозный вечер мы шли, но напрочь забылось теперь, почему, зачем и куда, по каким-то до этого вечера не ведомым мне промышленным набережным, окраинным и безлюдным, вдоль смутно мерцавших льдов, снежных пустынь, в которых страшно чернели огромные полыньи в тех местах, где, верно, сбрасывались в реку (или это какой-то канал был?) фабричные горячие, серно-пахучие воды; не только не подозревал я до тех пор о существовании этих набережных, этих каналов, но не мог их найти и впоследствии, как если бы они появились с приездом моей дамы, с ее отъездом исчезли; появились, исчезли с ней же навсегда мне запомнившиеся, потом ни разу не виденные, ни разу не найденные, красные, наверное, заводские, во всяком случае, отнюдь не кремлевские, стены, возле которых мы проваливались в ноздреватый, с угольными подпалинами и замерзшими брызгами коричневой глины наст на обочине (тротуаров там не было); проваливались, поначалу смеясь и, наконец, обнимаясь, потом не смеясь уже, но обнимаясь по-прежнему, глядя на неподвижные, стоявшие над нами в прозрачном, бело-розовом небе не тучи, но торжественные, скульптурные столбы изумрудного, извергаемого неведомыми трубами дыма – покуда не подхватило нас из небытия появившееся такси, с зеленым огонечком в углу ветрового стекла. В тот же вечер, в другую ли ночь оказались мы на совсем дальней, белобетонной окраине, на окраине южной ли, северной, в Строгине ли, в Беляеве, в однокомнатной, с комически низенькими потолками и глупейшими обоями в цветочках квартире, где то ли жила она, приезжая в Москву, то ли жила какая-то подруга ее, благородно уступившая нам на ночь свое непритязательное жилище, – ничего этого я не помню и в Вейле-на-Рейне, спустя вечность, вспомнить не мог, как ни пытался вспомнить, прислушиваясь к автострадному прибою за окном и за шторами, думая, как и теперь думаю, что только в Москве и могла случиться эта единственная ночь на окраине – в Ленинграде и Петербурге ничего чувственного со мной не случилось, – еще думая, перекатываясь с бугра на бугор, о том, что всякая чувственность стремится выйти за свои же пределы и что эта единственная ночь каким-то мне самому до сих пор непонятным и необъяснимым для меня образом изменила мою жизнь и молодость, что я это сразу же понял, как сразу же и догадался о том, что продолжения не будет, и потому говорил себе, лежа на чужой простыне и под чужим одеялом в идиотическом, желтеньком, в цветочках тоже, пододеяльнике, рядом с моей смуглой – даже во тьме, черноокой – даже во мраке, широкобедрой леди, что должен запомнить все это, не дать пропасть и погибнуть ни этому пододеяльнику в идиотических желтых цветочках, ни этому грустному, цементно-пыльно-табачному запаху чужой квартиры, запаху необжитых новостроек, сливавшемуся с восхитительным, влекуще-влажным, но тоже каким-то грустным запахом ее духов, волос и подмышек, ни этому ощущению ее бедер под моими ладонями, ее губ под моими губами, и потом долго и часто пытался представить себе, как повернулась и пошла бы моя жизнь, если бы наши отношения продолжились.

Емельяныч, черт бы его побрал

Конечно, они не продолжились. Когда на другую неделю приехал я в северную столицу, то мне позволено было, как всегда, как обычно, сопровождать мою смуглую леди в филармонию на тот концерт, который ей непременно было нужно послушать – она не прогуливала, в самом деле, ни одного (а я-то хотел бы прогулять их все, вместе с нею, один раз в жизни не думать уже о Брамсе), – потом проводить ее из концерта домой, кружным и долгим путем, с Невского проспекта направо, через Михайловский парк, где снег, я помню, не падал, но висел в воздухе, и оттого было очень тихо, сказочно расплывались желтые круги фонарей, Инженерный замок красным пятном, далеким заревом полыхал за удивленными своей белизною деревьями, Летний сад, еще не подозревавший о грядущих над ним надругательствах, был закрыт и вздымал за Лебязьей канавкой свои кроны подобьем тоже какого-то, но уже решительно фантастического, сразу белого и темного замка, мне же казалось, я сдохну, если не повторится сейчас, в ледяном Ленинграде, московская ночь, и, смешно вспомнить, когда мы вышли к Неве, я процитировал, без всякой связи с предыдущим разговором, предыдущим молчанием, «Лесного царя» – *неволей иль волей, а будешь ты мой*, – чтобы она уже знала, что ее ждет – *und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt*, – и во вторую половину пути уже не сомневался в своей решимости подняться к ней, вместе с нею, хочет она того или нет, но у самого парадного обнаружился в мохнатой шапке пожилой и суровый сосед, которого, метнув в мою сторону прелестный, извиняющийся, иронический взгляд, она и окликнула – Николай, на всю жизнь запомнил я, Емельяныч! – и с этим Емельянычем, будь он трижды проклят, даже, кажется, взяв его под руку, вошла в парадное, скрылась за дверь. Какой еще Емельяныч? какой еще, черт возьми! Емельяныч? в ярости повторял я по пути на Петроградскую сторону, шагая все быстрее и быстрее сквозь так же тихо и сказочно висящий в воздухе снег, сквозь наплывы и расплывы редких, тоже сказочных, фар и огней, по Английской набережной, затем по Дворцовой, по Троицкому (тогда еще Кировскому) мосту, глядя на едва намеченные за снегом очертания Ростральных колонн и Петропавловской крепости – лучший вид на земле, в любой ярости и под любым снегопадом, – не в силах оторваться мыслью от этого отчества – Емельяныч, черт возьми его! Емельяныч (как если бы все дело было в этих невинных звуках, этом *е*, этом *ме*, и звали бы его Трофимычем, звали бы хоть Лукьянычем, не так бы это было мучительно...); и я теперь не знаю и не хочу узнавать, что стало с моей смуглой леди, какую жизнь она прожила.

Одинокий параллелепипед

Но еще мы встречались с ней после этого снега, даже ходили смотреть работы Димы-фотографа, выставленные им не в парголовской коммуналке (куда красавица моя вряд ли бы со мною поехала), но совсем рядом с ее домом, если не прямо на Исаакиевской, то возле Исаакиевской площади, в чьей-то чужой, большой, бывшей барской, запущенной и бестолковой квартире, в которой запомнился мне (вот он почему-то запомнился) бесконечный темный коридор, уводивший в непонятные дебри, с глухими книжными полками по левую и комнатами по правую руку, сначала маленькой комнатой, где уже развешаны были Димины снимки, потом еще одной, побольше, и самой, наконец, большой, угловой комнатой, упиравшейся окнами в классический достоевский колодец. Квартирные выставки тогда были в моде. Я же разбил в то утро очки: положил их на стол за завтраком, потом смахнул со стола, потом ухитрился наступить на них нерасторопной ногою; я все видел, но чувствовал себя неуверенно; даже спуститься в метро на площади Льва Толстого, доехать до Гостиного двора было сложно; моя леди, когда я зашел за ней, изобразила сочувствие, впрочем, наверно, искреннее; все порывалась поддержать меня за локоток (как если бы я был слепой Эдип, она же Исмена и Антигона в одном смуглом лице), хотя я в этом совсем не, вернее, совсем не в этом нуждался. Дима же фотограф чуть-чуть злился из-за того, что я смотрю его фотографии такими беспомощными глазами; на мой патетический рассказ об очках, со стола упавших и бездарной ногою раздавленных, объявил, с зелеными искрами в своих собственных, голубых и серых глазах, что надо иметь запасные, и не просто иметь, но всегда возить их с собою, если уж такой я растяпа. А может быть, именно потому, что растяпа был без очков, он увидел в этих фотографиях то, чего в них не было, – или, скорее, то, что в них было, но чего не увидел бы он в очках, позволяющих рассмотреть подробности и детали, – увидел общий фон, светящийся и огромный на некоторых, не всех, фотографиях, фон, который показался ему (мне тогдашнему... в котором я узнаю и не узнаю теперь себя самого) чем-то более важным, даже более интересным, чем детали первого плана. Я ходил, теряясь в них, из одной комнаты в другую и третью, в квартирно-вернисажной толпе, состоявшей из Диминых друзей и приятельниц, приятелей этих приятельниц; в толпе, где моя леди сразу встретила своих, с тех пор забытых мною знакомых; встретив, сразу же и вступила с ними в отдельный, оскорбительно-оживленный разговор, в котором уже не было места ни мне, ни Диме, ни его фотографиям... Из этих фотографий в особенности помню одну – черно-белую, как и все остальные, – сделанную на каком-то пустыре или поле, понять было трудно, в правом, очень дальнем углу которого виден был торец одного, но и только одного, недавно, похоже, построенного многоэтажного дома, торец безоконный, бетонный, на таком расстоянии игрушечный, как и весь дом – не дом, а прямоугольный параллелепипед (как ненавидел я школу, с первой и до последней минуты...), поставленный посреди ничего, посреди пустоты, под превосходящим все и вся небом, небом светящимся, с подробно и тщательно разработанной архитектурой облаков, словно (или так я думал, стоя перед этой фотографией, стараясь не слушать оскорбительно-оживленный разговор моей дамы с ее собственными знакомыми, не в силах совсем не прислушиваться к нему) заменявшей архитектуру тех зданий, которые могли бы стоять, но не стояли на этом пустыре, этом поле. Был еще человек на фотографии – одинокая, крошечная фигурка, в плаще и почему-то с портфелем, застывшая спиной к нам и фотографу, с изумлением в спине, в повороте головы и даже в портфеле, таком абсурдном и трогательном посреди пустыря и поля. Конечно, дивился он, как и мы, как и я, этому одинокому параллелепипеду, этим светящимся, грозно-величественным громадам неба, феерическим фронтонам, разрывам, рострам, провалам и портикам. Вот они – прямо напротив; и вот он – сам по себе, соотнесенный и противопоставленный превосходящим его, а все-таки благоклонным к нему громадам. На всю жизнь запомнил я эту одну фотографию... И на других, не

на всех, было это светящееся, не соизмеримое ни с чем небо – и на его фоне что-то одно: один предмет, одно дерево, один, если я не путаю, мост, снятый снизу, с чудными железными балками и, как всегда у старых мостов, осмысленным узором заклепок; что-то отдельное, обособленное, похожее на звук сякухати, создающий вокруг себя свою собственную, вдруг внятную нам тишину, пустоту. О тишине и пустоте я думал тогда постоянно; не знаю, думал ли Дима, когда делал свои фотографии; но я думал снова и снова; о пустоте, из которой все возникает; о молчании, из которого приходят слова. Слова еще не приходили ко мне; я не сомневался, что скоро они придут; уже чувствовал их благотворную близость. Слова рождаются из молчания; я почти уже до них *домолчался*. И если не совсем еще домолчался, то, во всяком случае, верил, что скоро домолчусь и домучаюсь. Я был прав, как вскорости выяснилось, хотя слова эти на проверку сами оказались еще приблизительными, и начатый мною в марте 1985 года роман пришлось мне так много раз и так решительно переписывать, изживая в себе ученичество, что в итоге я девять лет ухлопал на его сочинение, закончил его уже в Германии, тоже в марте, но уже 1994 года, в другой жизни, в баварском и католическом Эйхштетте, с его кельтскими друидическими холмами. Ничего этого еще и представить себе было нельзя в то время, о котором пишу я сейчас; еще жизнь протекала в других декорациях, на другой сцене; еще распадалась на путаную, живую Москву, совсем не буддистскую (вопреки любимым стихам...) – и по-прежнему ледяной Ленинград, где был ветер, выдыхающаяся любовь, дзенские парадоксы – или это я сам распадался на (по меньшей мере) двух персонажей, сменявших друг друга всякий раз, когда я садился в красную или не-красную, стрелу или не-стрелу, чтобы переместиться за ночь из одной столицы в другую.

Из духовушки по эйдосам

Что бы ни имел в виду Мандельштам, говоря о «буддийской Москве», куда он «насильно» возвращен был «в год тридцать первый от рождения века», а буддистский храм существовал некогда в окраинной, северной, вовсе не в срединной столице; известный всем питерцам, многим не-питерцам буддистский храм на Приморском проспекте, построенный в самые ранние годы «от рождения века», в тридцать первом еще даже действовавший, затем, конечно, разоренный, оскверненный, закрытый. В том восемьдесят четвертом или пятом году, когда мы с Васькой-буддистом ездили смотреть на него, располагалась там, если память меня не подводит, какая-то советская контора с непрозрачным названием, одна из тех бесчисленных непрозрачных контор, которыми советская власть заполнила и заплонила русские земли и другие земли империи, отдав под них церкви, особняки, синагоги, дворцы и дацаны. Не помню, как мы туда добирались, а ведь проще всего добраться туда на трамвае, от метро «Черная речка»: проехать еще две или три остановки после той, на которой сходил я, чтобы попасть на Серафимовское кладбище; но, видно, ехали мы иначе или нашло на меня затмение, я, во всяком случае, не понимал тогда (потом понял), как близко расположено одно от другого. Мы долго с Васькой-буддистом пытались что-нибудь разглядеть сквозь забор, долго топтались в ворохе мокрых листьев; ничего не разглядев, пошли прочь, сквозь осенний, ветреный, ясный и теплый день, по Приморскому проспекту дальше, по мосту на Елагин остров; и там, на острове, был – стоящий в памяти сам по себе, посреди неразборчивых кустов – тир; да, тир; точно помню: деревянная длинная будка; стойка, стертая локтями стрелков; несчастные, все во вмятинах от пуль, жестяные зайчики, медведи и львы, проплывавшие в глубине будки, как идеи и образчики земных вещей у входа в Платонову пещеру, как пресловутые *эйдосы*, тени которых на стене только и видят пленники земной жизни. Васька-буддист оказался стрелком превосходным; потщательней, чтобы не мешали они ему, перевязав волосы кожаной ленточкой, палил из духовушки по эйдосам, сшибая их одного за другим, удовлетворенно крякая после каждого сшиба; прообразы львов и медведей с металлическим треском заваливались куда-то в незримость, к ироническому восхищению сидевшей в будке, в сторонке от мимолетающих пуль, рыже- и длинноволосой девушки, державшей в тонкой руке (и это вспомнил я) «Аэлиту» А.Н. Толстого, заложив ее указательным пальцем; и странно (думал я), мы ведь еще не читали в ту пору, даже, наверное, и не слышали о знаменитой книге Эйгена Герригеля (Ойгена Херригеля в пошлой советской транскрипции) «Дзен в искусстве стрельбы из лука» – книге, которую впоследствии, спустя вечность, обнаружил у меня на столе, в моем эйхштеттском университетском кабинете, Виктор М. (все ведь связано в мире, все со всем в мире взаимодействует...), после чего мы с ним и заговорили впервые о дзен-буддизме и я дал ему телефон и адрес буддистского центра в Нижней Баварии; а все-таки Васька (думал я, падая с бугра на бугор) в тот бесконечно-далекий, в меру ветреный, еще теплый осенний день, на Елагином острове, быстро целясь и легко, внезапно нажимая на курок длинным пальцем, так стрелял из обыкновенной духовушки по эйдосам, как будто что-то важнейшее знал он о дзенской стрельбе из лука, и если не прямо стрелял в себя самого (как, если верить Герригелю, должен делать истинный адепт этого благородного искусства), то стрелял во что-то в себе, от чего он хотел избавиться; и разве не он, Васька-буддист, сказал мне однажды – как мог я забыть это? – что дзен – это взрыв образов, что мы живем образами, ложными образами, ложными представлениями о себе самих и о мире, о том, что должно быть, о том, что правильно и как надо, и что дзен – это взрыв образов, ложных образов и неправильных представлений, и что они все неправильные, все ложные, истинных нет, правильных не бывает; вот, выходит, и стрелял он по несчастным мишкам и зайчикам как по ложным образам, неправильным эйдосам своей жизни...; а может быть, я все это воображаю себе теперь (думал я, по-прежнему падая), но просто он хотел про-

известии (и произвел) впечатление на рыжую девушку с пальчиком в «Аэлите»; и может быть – кто знает? – он возвратился потом без меня (на другой день, когда я уехал в Москву) в этот парк, в этот тир; может быть, познакомился с нею; может быть, женился на ней; может быть, у них теперь семь человек детей; все может быть. Я ничего не знал о Ваське-буддисте в ту гостиничную бессонную ночь; как-то незаметно выпал он из моей, я, соответственно, из его жизни.

Бодяк и мордовник

Я помнил только, что мы еще долго блуждали по островам и долго сидели на лавочке, на одной из тех русских лавочек, с гнутыми чугунными подлокотниками, каких я нигде потом не встречал, куда бы ни ездил по расстилавшейся перед моим внутренним взором карте. Был синеватый репейник возле этой скамейки, в тот невозвратимый день на Елагином острове, в середине восьмидесятых; синеватый, или нет, лиловатый репейник, среди прочей травы; репейник с синими шариками колючих тычинок; и еще какой-то репейник другой, у которого тычинки торчали на голой голове лиловым смешным хохолком; или это память все теперь перепутала? Бодяк (вот это помню), сказал вдруг Васька-буддист, снимая с себя длинными пальцами незримую паутинку. Что? – сказал я. Бодяк, сказал он. Есть репейник, который называется бодяк. А другой репейник – мордовник, сказал Васька-буддист, снимая с себя невидимый волосок. Мордовник? – спросил я. Мордовник, сказал он. Есть репейник-мордовник и есть репейник-бодяк. Который же бодяк и который мордовник? На это Васька-буддист не знал, что ответить. Не тот, возможно, и не другой; возможно даже, что ни бодяк, ни мордовник не растут на Елагином острове, на широте Петербурга; но есть, вообще в природе, такие репейники, с такими названиями. Ну есть и есть, что с того? А ничего. Просто есть... Вот, сказал я, замечание истинно дзенское... Того же мнения были вихлястые, по-мандельштамовски узкие осы, кружившиеся, в медитативной задумчивости над репейником (бодяком и мордовником). Осы, соглашаясь с нами, не прерывая своей медитации, садились прямо в тычинки, колючки и вдруг перевертывались, окунались в лиловую синеву, как утки окунаются в пруд или в озеро. Да утки и в самом деле окунались в пруд за деревьями, только память вычеркнула все это, оставив лишь ощущение большой воды где-то рядом, ощущение озерного и морского простора, со всех сторон окружавшего нас, морского простора, который, незримый, угадывался в колебании берез и осин, в блеклом широком небе с акварельными неспешными облаками. Далеко было видно, не в действительности, но внутренним зрением. Молодость невнимательна. Все-таки вспоминаю, как мы смотрели на этих мандельштамовских узких ос, окунавшихся – кувырк – в синеву тычинок, лиловость колючек, и я чувствовал, что Васька-буддист так же пристально на них смотрит, как я, и тоже, может быть, старается их запомнить, вместе с этим блеклым широким небом над нами, этим ощущением большой воды где-то рядом. Никогда не смогу поверить, что этого репейника – нет, этих ос – нет, сказал я, что они пусты, как нас учит буддизм (если и вправду он учит нас этому). Мне нравится (что значит нравится? меня влечет и манит, так или как-то так я сказал) другая пустота, совсем, наверное, не буддистская, та сияющая пустота – за вещами, которую чувствую я иногда острее и отчетливее, иногда совсем смутно, та спасительная, победительная пустота за вещами, безмерная и безусловная пустота за вот этими осами, этим репейником (бодяком и мордовником), из которой возникают вещи и в которую они возвращаются, из которой всякий раз возникают они – как будто впервые, как если бы никогда их раньше не было (ни бодяка, ни мордовника), никогда их больше не будет. Но они есть – вот сейчас, вот в это мгновение, как и мы сейчас есть. Они – суть, а мы – есмы. Что? – спросил Васька-буддист. Ничего; правильные формы спряжения глагола «быть», сказал я. Мы потому, возможно, и есмы, что видим их, сказал я. Мы существуем, и они существуют. Наш взгляд объединяет их с нами: они, однако, сами по себе, мы сами по себе, они суть и мы есмы, отделенные друг от друга, со всех сторон объятые пустотой.

Движение во времени

Неужели (еще раз) я вправду говорил так Ваське-буддисту на Елагином острове в середине восьмидесятых? и что он ответил мне? Он мне, может быть, ничего не ответил. Давно это было. А разве вчерашний день был недавно? Что было раньше, что было позже? Какая разница, что было раньше, что позже? И разве не так же я смотрел на тадао-андовский бетон накануне, как тридцать лет назад на лиловый репейник, и не из той же ли пустоты возникали эти стены, с их углублениями от опалубки, и не в ту же ли пустоту возвращались? Мы расставляем события во времени, как предметы расставляем в пространстве (думал я, уже путаясь в мыслях), но то, что есть, то есть, и то, что было, то было, и где-то по-прежнему кружат эти осы над лиловым репейником, и окунаются в него, как утки окунаются в пруд, и разве не смотрели мы с Виктором точно так же на синий и лиловый репейник (мордовник, бодяк ли) совсем недавно, какой-нибудь год назад, в местах куда менее романтических, на франкфуртской невестелой окраине, у ограды супермаркета фирмы Lidl, и разве не говорил я Виктору примерно то же самое, что говорил некогда Ваське-буддисту? Виктору, между прочим, когда мы с Васькой стреляли в тире, следили за осами и созерцали мордовник, было лет шесть или семь, и ни о каком дзене он и слыхом не слыхивал. И как раз когда было ему лет семь или восемь, случилось в его, Викторовой, так незадолго до этого начавшейся жизни событие важнейшее и страшнейшее, перевернувшее, может быть, всю эту жизнь, предопределившее – кто знает? – этой жизни дальнейший ход, фон и тон, событие, о котором бесконечно много позже рассказал он мне в темном кронбергском парке, за полчаса, может быть, до своего собственного знакомства с Тиной, последствий которого ни он, ни Тина тоже, разумеется, вообразить себе не могли...

«Макс»

Уже отсветы перестали бегать по потолку, и автострады почти не было слышно. Только вдруг взрывалось что-то за окном и за шторами, приближалось и нарастало, рассыпалось сухим треском, осыпалось мелкими камушками, превращалось в сплошной гул и гуд, реактивный, турбовинтовой, истребительный – какой-нибудь безумный мотоциклист, презирающий тишину и глушители, пронесся с тремя сотнями километров на ошалевшем спидометре по совершенно пустынной дороге – один из тех безумных мотоциклистов, которые днем отсыплются или ходят на постылую работу ради ничтожных денег, зато ночью обретают свое одинокое адреналиновое счастье, на краю гибели, в ландшафтах предсмертия, сливающихся в слепое пятно; еще долго звук его замирал в тишине; и чем дольше замирал этот звук, тем дальше виделось мне, внутренним зрением; как если бы, еле слышный, он доходил до меня, до моей гостиницы и кровати, уже из Швейцарии, или из Франции, или из какой-то другой, на карту еще не нанесенной страны, в которой тоже были и, куда замирал этот звук, открывались и виделись мне неведомые города, незнакомые горы. Мы расставляем события нашей жизни во времени, как предметы в пространстве, или как флажки на карте, действительно, с ее горами, ее городами – карте, по которой я двигался обратно, из прошлого в настоящее, с востока на запад; и вспоминал – и видел – вновь Эйхштетт, Виктора, бегущего вдоль Альтмюля, быстрой речки с длиннолиственными ветлами; вспоминал те дни, в Вене, в прокуренной и ужасной гостинице (тоже гостинице), ранней весной 1999 года, когда я сам решил пойти, наконец, по дзенскому пути, потому что никакого другого не видел уже для себя. Это тоже было давно и недавно, я думал; столько же, или примерно столько же, лет прошло с тех пор, сколько прошло к тому времени с моей питерской дзенской эпохи, с моих последних встреч с Васькой-буддистом, Димой-фотографом, которых потерял я из виду, почти перестав во второй половине восьмидесятых годов приезжать в Ленинград, отчаявшись добиться успеха у моей смуглой, черноокой, широкобедрой и восхитительной леди, но увлеченный другими людьми, другими делами, начавши весной 1985 года писать мой первый роман, много позже, в 1998 году, изданный мною под названием «Макс», роман, в котором – как же иначе? – речь шла, среди прочего, о том, что так волновало и мучило меня в молодости (с началом этого писания как раз и закончившейся), о невозможности остаться в одиночестве, в настоящем мгновении времени, об ускользании от самой себя нашей мысли, обращенной к кому-то другому, об этом присутствии *другого* в нас, отчуждающем нас от нас же самих... обо всех тех нерешенностях, иными словами, которые (вместе с возможными их решениями) я словно откладывал на потом, на когда-нибудь, на после-романа. В нем тоже предлагались решения, отчасти, наверное, дзенские (хотя ни о каком дзене речь впрямую не шла, автор не упоминал, герои не говорили), или дзенские постольку и так, как и поскольку я это понимал тогда; как-то связанные с той интуицией сияющей пустоты, исходя из которой, на фоне которой только и может существовать то, что существует: репейник, дерево или я, на них смотрящий, их видящий... Главным решением – для автора – был сам роман; само писание; сам текст, со всеми его диалогами, главами, короткими и длинными фразами, подъемами, паденьями ритма; других и не требовалось. И почему-то я верил – смешно вспомнить теперь, – что после романа начнется настоящая жизнь, что пускай не решив, но, по крайней мере, описав нерешенности моей молодости, свободный от их груза, их тоски и тяготы, отправлюсь я по открывающимся передо мною жизненным дорогам на поиски совсем иных, в молодости даже не предполагавшихся вещей, идей и возможностей, иных слов, иных текстов. Ничего этого не случилось. Ни новых слов, ни новых мыслей не обнаружилось. Когда в марте 1994 года в баварском и католическом Эйхштетте, в маленькой комнате над булочной, которую снимал я тогда, закончил я свою за девять лет непомерно разросшуюся, бессчетное множество раз переписанную, перепечатанную (еще на машинке, ни на каком не на компьютере) рукопись,

выяснилось, что не только нет у меня новых слов, новых мыслей (как если бы я за девять лет их все израсходовал), но нет и никаких таких жизненных дорог, перспектив и возможностей, которые почему-то (по глупости, по наивности) мне до этого грезились. Мне грезился райский сад, а вступил я в выжженную пустыню. Какую-то до отчаяния ненужную мне приходилось писать диссертацию (под предлогом коей я, собственно, и жил в баварском уединении), какие-то нужно было делать внешние, бытовые дела, зарабатывать жалкие деньги... Главное, все было так же, как до романа, все тяготы и тревоги прошлого ко мне возвратились. Нового избавления от них не было – ни новой прозы, ни, скажем, стихов; все, что мучило меня с юности, опять на меня обрушилось. Так же страдал я от невозможности остаться наедине с самим собою, оборвать поток случайных, ничтожных, обращенных к кому-то мыслей в моей (тем временем уже начавшей сесть) голове или хотя бы подняться над ним, посмотреть на него откуда-то со стороны (иногда это удавалось, но редко, ненадолго); таким же оставалось недостижимым, неуловимым настоящее, вот это *здесь-и-сейчас*, которое по-прежнему считал я тем единственным, что вообще *есть*; так же трудно было, так же плохо получалось в нем просто присутствовать, не отвлекаясь на постороннюю чепуху, мечты о будущем, сожаления о прошлом; и то же было вечное чувство беспокойной неудовлетворенности, как некогда переводил (уже почти забытый мною) Ген-надий буддистское понятие дукха: роковое, извечное, непобедимое чувство неудовлетворенности, сопровождавшее, как генерал-бас, все прочие чувства, прочие мысли.

Лож и декорации

И, значит, со времени моих первых дзенских увлечений, со времени Васьки-буддиста, Димы-фотографа должно было пройти – сколько? – четырнадцать или пятнадцать лет (так легко сжимаемых теперь в одно предложение, таких долгих в действительности), и я должен был закончить отнявший у меня девять лет жизни роман (в Эйхштетте, еще раз, в 1994 году), и переехать (в 1996 году) в Регенсбург, и (к 1998 или 1999 году) окончательно отчаяться написать следующий, отчаяться написать вообще что-нибудь, отчаяться вообще во всем – и в писательстве и в жизни, чтобы для самого себя неожиданно, в Вене, куда приехал я просто так, с этого же отчаяния, от отчаяния убегая, в марте 1999 года (как раз в те дни, когда началась бомбардировка Белграда...), в ужасной дешевой гостинице, которую порекомендовал мне кто-то из бережливых немецких приятелей, чтобы вдруг сказать себе, что я пойду по дзенскому пути, будь что будет, всерьез и в самом деле, потому что никакого другого пути не вижу я для себя. Все декорации жизни давно поменялись, другие зрители сидели в глубине других лож, как будто и не было никогда того трамвая, того струения дождя по стеклам, тех девушек, тех коммуналок, того Ген-наадия, обсосанного Соссюра, как будто снился мне некий сон, перестал сниться, выпал из памяти, и я сам, уже почти сорокалетний, с отчаяния, от отчаяния и без всякой цели приехавший в Вену, был какой-то другой я, с другим составом крови и плоти, с другим, уже слоистым, ступенчатым, переборчатым прошлым, с другим, еще и по-прежнему необозримым, но уже начавшим сужаться, сжиматься будущим, с такими потерями в этом прошлом и такими потерями в будущем, уже осязаемом, о которых пятнадцатью годами ранее никто и не думал... другой – и тот же самый я, разумеется, с теми же темами жизни, тем же набором нерешенностей, теми же проблесками пробуждения и теми же провалами в обыденное безмыслие.

Улица Инвалидов

Вена в мой первый туда приезд показалась мне городом вполне отвратительным, подложно-парадным – одним из самых пошлых городов Европы, – городом, который делает вид, что все хорошо, все в порядке и всегда, и раньше было только хорошее, сплошные балы и вальсы, прыжки и ужимки, кавалеры в кружевах и дамы в кабриолетах, ничего другого и не было, ничего не случилось. Война? Не слышали. Нацизм? Так это ж немцы во всем виноваты, это они нас попутали, наша с краю альпийская хижина, мы такие милые, мы ни при чем. Целую ручки, и до скорой встречи, сударыня. А евреев мы так любим, так любим. То есть мы их ненавидим по-прежнему, но не скажем этого никому, никогда... А я ненавижу эту вашу похабную позолоту, эти ваши казарменные дворцы, эти ваши имперские площади, фатально, как бы вы ни выделялись, напоминающие о плаце, муштре и шпицрутене, о том, что первая колонна marschiert и вторая колонна marschiert, но ни вторая, ни первая не придут никуда, заблудятся в лесу, увязнут в болоте – и поделом, и так им и надо, и любое болото отрадней мне торжественного убожества вашего... Я был, наверно, не прав; просто так несчастен был в эти мартовские дни в этом городе, как редко где и когда бывал в жизни. Знакомых в Вене у меня не было, идти было некуда, туристические места на третий день опостытели. Оставалось только уехать, но почему-то не уезжал я; упорно, словно в надежде на встречу с кем-нибудь, с чем-нибудь, бродил по отвратительным мне проспектам, бульварам, переулкам и улицам с чудовищными названиями вроде Landesgerichtsstraße, Getreidemarkt или Kettenbrückengasse, и только, может быть, в Бельведере, в его поднимающемся на гору парке находил недолгий покой, но потом опять тащился по какой-нибудь бесконечной Invalidenstraße, сам делаясь инвалидом, с трудом и мучкой волоча пудовые ноги, но все же из вечера в вечер возвращаясь – зачем? – в свою мрачную, затрапезную, заброшенную гостиницу, содержащуюся двумя поляками – одним маленьким поляком и его, похоже, братом или кузеном, иногда замещавшим его за стойкой в прихожей, у основания мрачной лестницы с протертой ковровой дорожкой и очень пыльной, очень, как и я сам, несчастной пальмочкой в пролете (гостиницу, к которой под конец моего пребывания я почувствовал даже что-то вроде симпатии – островок славянской правды в море австрийского ханжества), в этот крошечный прокуренный номер (в Европе еще курили тогда в гостиницах), главное достоинство которого заключалось в том, что, сидя на стуле, деревянном, выгнутом и скрипучем, можно было дотянуться рукою до любого предмета и любого угла, до телевизора, подвешенного под потолком, или до тумбочки, или до затхлого шкафа, так что никакого и смысла не было подниматься с этого стула, разве что ради того, чтобы лечь на в меру продавленную кровать, бессонными ночами, в отличие от вейль-на-рейнской, не одарившую постояльца, одарившую его мрачайшими вечерами, бессмысленным глядением в потолок. В последний и самый ужасный из этих венских весенних дней, неистово-солнечный и злобно-голубоглазый, когда я поехал зачем-то в Шёнбрунн, эту жалкую в своей примитивной гигантомании пародию на Версаль, и возвратился оттуда в окончательном отчаянии, вдобавок и с мигренью до тех пор не испытанной силы – просто шило (и даже, скорее, штопор) воткнули мне в голову в верхушке от виска, воткнули и вворачивали все глубже, – на помянутой кровати лежучи, в помянутый потолок глядячи, для себя самого неожиданно принял я решение пойти по дзенскому, действительно – потому что никакого другого не видел и не мог придумать, – пути; приняв его, пересел на стул – больше пересесть было некуда, – сложил руки в дзенскую мудру, какой она мне помнилась по уже к тому времени прочитанным книгам, принялся считать свои выдохи. Все наши, если не лучшие, то важнейшие наши решения вырастают, я знаю теперь, из отчаяния. Мигрень не прошла, да и на душе не то чтобы полегчало. Не полегчало, но прояснилось. По крайней мере, удалось мне, наконец, отстраниться от моего же отчаяния, откуда-то сверху и сбоку посмотреть на него (как в свое время на речку-вонючку с ее облач-

ками стирального порошка и облаками небесными...), сбоку и сверху – на мои бессмысленные прогулки по чудовищно имперским площадям и отвратительно парадным проспектам, на эту внезапную ненависть к ничему, наверное, не заслужившей ее Вене, на всю мою зашедшую в тупик жизнь, эти последние мучительные годы, эту выжженную пустыню – посмотреть на них сверху, сбоку или, наоборот, с какой-то вдруг обретенной внутренней точки, неподвижной посреди шатания и шума во мне, с этого деревянного, выгнутого, но твердо стоявшего на полу, скрипучего, а все же уверенного в себе стула, на котором сидел я, считая выдохи, и с которого можно было дотянуться до любого предмета в комнате – до стола, и лампы, и телевизора. Включать телевизор мне и в голову не приходило, но что-то переключилось у меня в голове; решение было принято; как только оно было принято, я мог уже и уехать; на завтра без всяких приключений докатился до Регенсбурга; и потом все закрутилось, понеслось очень быстро; очень быстро обнаружилась в том же Регенсбурге дзен-буддистская группа, собиравшаяся в каком-то протестантском учреждении, затем другая, дзенско-католическая, затем просто дзенская, в Мюнхене; и я раздобыл (теперь не помню, где именно) японскую черную круглую подушку для медитаций (набитую особенной белой ватой – капоком), подушку, которая с тех пор мне верно служит (иногда приходится добавлять в нее немного этого белого капока через боковой тайный разрез); и на этой подушке *сидел* теперь (в дзенском смысле) каждое утро и каждый вечер, считая свои выдохи (от одного до десяти) и стараясь (как учат дзенские книги) не обращать внимания на возникавшие, проходившие у меня в голове мысли, обрывки мыслей, обращенных или не обращенных к кому-то, стараясь не говорить им ни *да*, ни *нет*, не бежать за ними, но и не подавлять их – просто, с терпением, которого я до тех пор не предполагал в себе, возвращаясь к счету выдохов, от одного до десяти, от одного до десяти. В дзенско-протестантских, и дзенско-католических, и просто дзенских группах, в которые попадал я теперь, *сидели* (три раза по двадцать пять минут; иногда, впрочем, и дольше) некие (мне, признаться, совсем не запомнившиеся и, наверное, потому не запомнившиеся, что ни с кем из них я не вступил в разговор, никто даже внимания не обратил на меня; хотя некоторые требовали, чтобы сперва я выслушал их объяснения, как сидеть, как складывать руки, как ноги; но и эти не запомнились тоже...) дядьки и тетki, почти все средних лет и вида безумного более, безумного менее, но и в том, и в другом случае какие-то невыразительные (потому и не запомнившиеся, наверное) или, может быть, так решительно повернутые к чему-то иному, отвернутые друг от друга и от меня, новичка, что даже лица их стирались, смывались, очень скоро стерлись из памяти. Не скажу, что мне это нравилось. Мне это вовсе не нравилось; ни в одну из этих групп и группок я долго не проходил; везде был случайным гостем.

Рай – рядом, закрытая дверь

Во всех этих группах, как и в книгах, которые теперь читал я, говорили мне и рассказывали, что ежедневный дза-дзен – это прекрасно, но что главное – это сессин, недельное (например) удаление-от-мира, целиком (почти целиком) посвященное медитациям. Тут же выяснилось, что сессины проходят повсюду, что записаться на них нетрудно, стоит недорого; дзен-буддистские сессины, выяснилось опять же, проводятся не только в буддистских местах и монастырях, но и во многих монастырях католических, у францисканцев, у бенедиктинцев, у иезуитов, причем один такой (францисканский) монастырь оказался на полпути между Регенсбургом и Эйхштеттом, в деревушке под названием Дитфурт, в долине Альтмюля, так что я, в ту пору едва ли не каждую неделю (во время семестра) ездивший из Регенсбурга в Эйхштетт (где уже начинал преподавать и куда вскорости, в 2001 году, вынужден был возвратиться, получив там уже упомянутую работу на кафедре восточноевропейской истории), иногда в этом (крошечном) Дитфурте останавливался, парковал машину на ратушной площади и шел по узеньким улочкам к монастырю, чтобы посмотреть из-за ограды на плоскую крышу и мелкие, продолговатые окошки дзен-до, зала для медитации, основанного, между прочим, знаменитым в немецких дзенских кругах Гуго Эномия-Лассалем (Enomiya-Lassalle), иезуитским патером, бесконечно долго жившим в Японии, пережившим там Хиросиму, стремившимся (говоря пластмассовым языком) дзенскую «мистику» объединить с христианской. Кроме плоской крыши и мелких окошек ничего видно не было; никакие монахи, ни францисканские, ни буддистские, из монастыря не выходили, так что, например, вступить с кем-нибудь из них в беседу, обменяться парой любезностей и парадоксов, а заодно и расспросить о сессине, как хотелось бы мне, я не мог; вообще, мне помнится, никто не выходил из монастыря и никто в него не входил, хотя было, как оно и всегда бывает, окошечко у входа и рядом с ним звонок, которым можно было вызвать привратника. Я этого так и не сделал. Я обходил вокруг монастырских стен, выходил к ручью, бойко бежавшему с мягких холмов к Альтмюлю, журча и всплескивая под маленьким мостиком, играя на солнце, играя мхом на камнях и на дне, отражая небо, сияние облаков, синеву между ними. Я смотрел на все это с ощущением одновременности несчастья и счастья. Все это было здесь, сейчас, несказанное в своем совершенстве, отвергающее меня. В этом блеске отраженных в воде облаков, и в этих перевернутых черных деревьях с зыблущимися и все же четкими очертаньями веток и веточек, и в этих мягких холмах вдалеке (так манивших, так звавших) – во всем этом был покой, от которого я по-прежнему чувствовал себя непоправимо отторгнутым. Рай всегда рядом, я думал, но двери в него закрыты.

Буддистский хутор

Эти блуждания у монастырских стен блужданиями и остались; мне хотелось буддизма чистого, без католических примесей. Обнаружился буддистский хутор, даже, смешно вспомнить, целых три буддистских хутора в Нижней Баварии, в глухом и сельском углу; из каковых хуторов один был незадолго до того основанный, в традиции Сото, дзен-буддистский монастырь, два других предоставляли разным буддистским направлениям и группам место для уединенных занятий и аскетических подвигов: буддизм тхеравады сменялся буддизмом тибетским; заканчивалась випассана, начинался дзенский сессин. На один из этих хуторов я и отправился (уже следующей, еще и тоже ранней весной); долго ехал по все более пустынным дорогам; съехав на дорогу уже просто проселочную, щебеночную (что в Германии бывает нечасто), обнаружил самодельную умильную табличку, простую фанерку, указывавшую путь к убежищу и отрешению от мира; проскочил пару оврагов, резко вниз, резко вверх; когда же, оставив машину на парковке за хутором, на краю последнего оврага, занес вещи в дом и познакомился с держателями заведения, сразу, я помню, почувствовал себя внутри некоего особенного целого, как мы себя чувствуем в театре, в концерте... или в больнице, в любом месте, на более или менее длительное время отделяющем – отдаляющем – нас от нашей привычной жизни; и я не только потому, наверное, так хорошо помню, так ясно вижу теперь этот деревенский дом, судя по толщине стен и узости окон старинный, XVIII, может быть, века (и как бы удивились его первые, да и последующие владельцы, узнай они, во что превратят их скромное обиталище странные люди, населившие землю после мировых, объединивших мир войн и катастроф, тектонических потрясений, все смешавших, все перепутавших на земле) – этот дом, по-деревенски и по-старинному темный, с его прихожей, где на особых приступочках ровным рядом стояли сельские сапоги, и городские ботинки, и, для внутреннего пользования, тапочки, с его бесчисленными порогами, его деревянной, скрипучей, за себя саму загибавшейся лестницей на второй этаж, где в одной из комнат, пустой и совсем не торжественной, проходил так называемый *докусан* (см. ниже), остальные же, как и комнаты на третьем этаже, на который вела уже откровенно чердачная лестница, были комнаты спальные, на двоих и на одного, с простой, из натурального дерева мебелью, в своей простоте и свежести нимало не напоминавшей мебель гостиничную, комнаты с кроватью и шкафом, в котором *плечики* были обычные, тоже из дерева, соприродные человечеству, пахло сухими травами, разложенными на полочках в пестрых холщовых пакетиках, и послание от хозяев дома к взыскующему истины постояльцу, приклеенное к изнанке одной из шкафных дверей, просило его, постояльца, соблюдать, по крайней мере во время пребывания своего в доме сем, буддистские принципы ненасилия, даже и поелику возможно распространяя их, эти принципы, на – кого? – насекомых, вот именно: насекомых (с каковыми я в тот первый мартовский сессин не имел дела, зато во второй мой сессин, осенний, уже вынужден был дело иметь, поскольку они, деревенские комары и сельские мухи, мечтали меня покусать, пожужжать мне прямо в ухо и вообще как-нибудь испортить мне настроение, я же не всегда ухитрялся распространить на них буддистские принципы ненасилия); не только потому так ясно вижу я теперь этот дом, что провел там сперва одну, потому другую неделю, весеннюю и осеннюю, но еще и потому, что провел их, эти две недели, в том медитативном молчании, стихании случайных мыслей, в той отрешенной сосредоточенности и сосредоточенной отрешенности, которые только и позволяют нам увидеть, запомнить окружающий нас мир, окружающие нас вещи, коряги и камни, любовно разложенные по всем подоконникам, по краям лестничных ступенек и по книжным полкам в библиотеке, запомнить и поля вокруг дома с многообразными – в мой весенний приезд, – по разным лекалам выведенными пятнами белого или уже ноздревато-темного снега на распаханной черной земле.

Явление Боба

Первым делом надо было записаться на какую-то определенную – такую-то, а не другую – работу; в дзенских монастырях все работают (не расставаясь, или якобы не расставаясь, со своим коаном, или хотя бы со счетом вдохов и выдохов, или, чаще, одних только выдохов; работа, *саму*, считается тоже упражнением, частью аскезы и религиозного подвига); в настоящих японских монастырях работают, потом узнал я, гораздо больше и тяжелее, чем работали здесь. Но и здесь надо было или овощи на кухне резать, или, скажем, лестницу мыть. Посуду надо было мыть при всех обстоятельствах, неважно, что еще ты делал, что выбрал. Я подумал, что и так буду все время на людях и потому работе общей стоит предпочесть работу в одиночестве, резке овощей – мытье лестницы. На мытье этой лестницы притяжали многие, но я был первым, мне повезло... Лишь под вечер, когда съехались и разместились все эти притязавшие или не притязавшие на мытье лестницы свидетели и соучастники моих грядущих аскетических подвигов, мои соратники в медитативной борьбе – человек, пожалуй, пятнадцать, которых, за двумя или тремя замечательными исключениями, я как раз не могу теперь вспомнить, так они были отвернуты от меня и друг от друга, – лишь под вечер, когда все устроились и все разместились, обнаружил я само дзен-до, зал для медитаций, главное место в доме – небольшое, сводчатое, бело- и мелостенное, с совсем уже узенькими окошками и дощатым, тоже скрипучим, как впоследствии выяснилось, беспощадно холодным, полом. В углу были сложены маты, подушки и одеяла, к каковым сейчас же и устремились проникшие в зал дзен-буддисты, каждый (каждая) из которых принялся (принялась) с большой деловитостью оборудовать себе местечко – поближе к окошкам или, наоборот, лицом к безоконной стене; лишь, опять же, под вечер, когда искатели истины расселись на подушках и матах, увидел я главу всего предприятия – Боба Р., американца, столько-то или столько-то, двадцать или двадцать пять лет перед тем прожившего в Японии, ученика и воспитанника легендарных наставников, авторов и героев дзенских книг, не покидавших меня в ту пору, – Боба Р., которому тогда было – сколько же? – лет, наверное, пятьдесят с небольшим, который, к моему удивлению, разочарованию, явился перед адептами и аскетами не в одном из тех дзенских черных или черных с золотом одеяний, которые видел я на фотографиях и теперь надеялся увидеть *in natura*, но в обычных, коричневых, с плохо отутюженной складкою брюках, нисколько не джинсах, в неопределенно-бежевом свитере грубой и редкой вязки, так что сквозь него видна была клетчатая рубашка, застегнутая на верхнюю пуговицу, как это делают только школьники, отличники, первые ученики. А он и похож был на первого ученика, то есть похож был на подростка в свои тогдашние пятьдесят с небольшим, и не только застегнутая верхняя пуговица, но и прическа была у него какая-то школьная, подростковая, как это иногда бывает у англосаксов, со смешной, болтавшейся впереди прядью светлых, уже начавших сесть волос. Они еще не решили, эти волосы, оставаться ли им волосами молодого блондина или сделаться волосами тоже еще не старого, но уже пожившего на земле человека; седина, пробивавшаяся сквозь их готовую исчезнуть блондинистость, отзывалась в них, смотря по тому, как падал свет, быстрым блеском, мгновенным мерцанием. Молодыми, светлыми были, до конца оставались глаза. По-немецки говорил он с сильным американским акцентом, иногда задумываясь над словами, как если бы он не уверен был в этих словах – или просто переходя на английский; но даже перейдя на английский, продолжал задумываться над своими словами; не говорил, но думал вслух, при свидетелях; и даже когда повторял уже сказанное (а мне случалось впоследствии слышать от него уже сказанное им раньше), все равно создавалось у меня впечатление, что он впервые нашел слова для своей мысли и даже впервые нашел саму мысль, неожиданно набрел на нее; отчего она переставала быть собственно мыслью, отдельной от него, Боба, но становилась простым и всякий раз новым выражением того самого важного, что было в нем, было им. Он не высказывался,

но сказывался в том, что он говорил. И он не торопился никуда, никогда. Он всякий раз ждал в непоколебимом и счастливом молчании, чтобы слова и мысли пришли к нему сами, из той тишины, из которой и приходят слова, из той пустоты, из которой все приходит, в которую все возвращается. Оттого казалось, что он и говорит из этой пустоты, тишины, со всех сторон окружавшей и его слова, и его самого, как окружает она одинокий звук сякухати. И оттого что говорил он – из этой тишины, пустоты, он одновременно был и не был там, где он был (в дзен-до, на подушке, на почетном учительском месте, лицом и сиянием глаз повернутый ко всем остальным). Он безусловно был там, где он был, всей силой дзенского присутствия присутствуя в настоящем (в этом дзен-до, на этой подушке); а все же говорил он издали и откуда-то, из каких-то, я думал, не доступных его слушателям областей, которые (как мне уже доводилось писать) я невольно представлял себе в виде далеких горных, в синей солнечной дымке друг за другом исчезающих кряжей (с пинией на переднем плане, легкими уверенными штрихами прочерченной в воздухе...); и эти лишь ему одному доступные области, эти снега и вершины, стояли, сияли за ним, делая совсем уже маленьким и чуть-чуть смешным то место, в котором мы все находились: низкий потолок, узкие окна.

Okay

Его самое частое слово в тот вечер было okay. Okay, или, когда он говорил по-немецки, in Ordnung. Мы все здесь с разными целями и по разным мотивам, и это in Ordnung, это okay, говорил Боб. Мы здесь с одной целью – понять, что все вообще in Ordnung, все вообще okay. Здесь многие, говорил он, совмещают дзен с христианской верой, и это okay, in Ordnung, очень хорошо и пусть будет так. Здесь есть, он знает, католики; есть, наверно, и лютеране. Это in Ordnung, это okay. А для многих, наоборот, дзен был освобождением от... чего-то (тут он надолго задумался в ожидании правильных слов), чего-то в христианской вере, что их не устраивало, от того, может быть, что в детстве их мучило, от страшного Бога-отца, подавлявшего их волю и больше похожего на их отца земного, слишком земного, говорил Боб (с сильнейшим американским акцентом, в ожидании правильных слов задумываясь снова и снова), на их жестокого, или сурового, или всегда недовольного ими, или равнодушного к ним отца, с которым в своей взрослой и подлинной жизни они уже не знают, что делать, которого они, может быть, предпочли бы забыть, о котором вовсе не хотят, чтобы напоминали им во время каждой мессы, каждое воскресенье, чтобы каждое воскресенье и во время каждой мессы их окунали с головой в их детские страхи. Такие люди здесь наверняка есть; они всегда есть. И это тоже in Ordnung, тоже okay. А для кого-то дзен вообще не имеет отношения к религии; вообще о другом; они просто хотят отстраниться от своей повседневной жизни, побыть в уединении, сделать перерыв, take a break. Совершенно неважно, какие мотивы привели вас сюда. Даже если простое любопытство привело вас, это тоже okay, in Ordnung, почему бы и нет? хотя он сомневается, что из простого любопытства можно взять на себя тяготы недельного молчанья, сиденья. Но кто-то, может быть, хочет попробовать, получить новые впечатления, изведать неведомое, посмотреть, подходит ли ему этот путь. И это хорошо, и это in Ordnung. Как говорил великий Ямада-роси, десяти процентов искренности для дзена совершенно достаточно...

Кинхин и прочие прелести

Передо мной лежит расписание этих дней, розданное всем участникам на отдельных листочках (мой, по счастью, у меня сохранился); вот оно, во всей его непреходящей красе. В 6.00 был подъем (довольно поздно по дзенским понятиям); в 6.30 – первый дза-дзен (два раза по двадцать пять минут); в 7.45 – завтрак (прекраснейшее мгновение дня); в 8.15 – *саму*, работа в медитативной сосредоточенности, в моем случае мытье деревянной, скрипучей и за себя саму загигавшейся лестницы (никакая медитативная сосредоточенность не помешала мне на третий или на четвертый день на этой лестнице оступиться, ударившись, и очень сильно ударившись, о ближайшую ступеньку коленом, что еще добавило мне очаровательных ощущений); в 9.30 – дза-дзен; в 10.05 – *тей-сё*, небольшая проповедь, которую читал Боб, как правило, бравший за основу какой-нибудь дзенский текст, например старейший дзенский текст из всех, какие есть, написанный Третьим патриархом, Сэнь-цянем (по-японски Сосаном, ничего не могу поделаться), – текст, называемый «Синь-дзин-мин» (что иногда переводят как «Печать верующего ума», иногда как «Слова доверия сердцу», иногда еще как-нибудь) и начинающийся важнейшими для постижения сути вещей и природы Будды, как утверждал в своих *тей-сё* Боб, словами о том, что Высший Путь (дао) совсем нетруден, надо только (как переводят одни) отказаться от выбора или (как переводят другие) избегать предпочтений; в 10.50 снова дза-дзен (два раза по двадцать пять минут с так называемым кинхином в промежутке – чудесной процедурой, при которой адепты идут друг за дружкой, сложив перед собой руки, очень медленно, ступая сперва на пятку, потом на носок и стараясь всей ступнею ощутить каждый шаг свой, продолжая при этом считать выдохи или бороться с коаном, что бы сие ни значило; в хорошую погоду медитирующей гусеницей выходили мы, случалось, во двор, обходили вокруг дома, снова вползали в дом; поднимая голову, я видел над дальним лесом сверкавшие облака и распаханное, чудно пахнущее землю черное поле, начинавшееся сразу за хутором; видел, бывало, и трактор на этом поле, тракториста в треугольной крестьянской шапочке – и тогда уже не мог удержаться, начинал воображать себе, как *он* видит всю сцену, что себе говорит – *во, поглядите-ка, опять пошли эти психи*; – большого труда мне стоило не свалиться на землю от хохота); наконец, в 12.00 – обед; обед, как правило, замечательный, чисто вегетарианский, приготовляемый некоей Аникой, отрадно толстенькой, как поварихе оно и положено, девушкой, привезшей на нижнебаварский хутор из (она мне потом рассказывала) путешествий по Таиланду, Индии, Камбодже и прочим сказочным странам немалый набор экзотических рецептов, которые она и испробовала на безмолвных и благодарных исказителях истины, с нескрываемым наслаждением и честно заработанным аппетитом поедавших ее супы с мандарином и миндалем, ее шпинат с кусочками брынзы; в 13.45 – чай или кофе; в 14.15 – дза-дзен (три раза по двадцать пять минут, с кинхином в промежутках); затем перерыв; затем, в 16.25 – еще два раза по двадцать пять минут дза-дзена с кинхином; в 17.30 – совместное (вслух и с завываниями) чтение сутры, всякий раз, если память меня не подводит, все той же так называемой «Сутры сердца», «Праджняпарамита хридая сутры», главного, как утверждают знатоки этого дела и, от себя добавлю, парадоксальнейшего текста в буддизме Махаяны (сообщающего всем, кто желает слушать, что форма – это пустота и пустота – это форма, и нет никакой разницы между ними, и нет материи, нет чувств, нет обоняемого, осязаемого, зримого, слышимого, нет заблуждения и нет прекращения ононого, нет старости и нет смерти, нет избавления от старости и от смерти, нет страдания, нет причины страдания, нет пути, нет познания, нет достижения...); в 18.00 – новое наслаждение Аникиными гастрономическими изысками, официально ужин; еще два раза дза-дзен, опять кинхин в промежутке; наконец, в 9.00 – отбой, после которого еще мог быть дза-дзен добровольный, на что уже не было у меня ни сил, ни желания (так это все было мучительно, так болели ноги и поясница;

велико же было мое удивление, когда в конце сессии выяснилось, что почти у всех прочих и силы, и желание были, что один волосатый парень еще до двенадцати, другая тетка, из нестигаемых, чуть не до двух часов ночи просиживала в дзен-до, всего четыре часа, как в суровых японских монастырях оно и принято, оставляя на сон).

Идиосинкразия интеллигенции

Докусан есть тайное ежедневное собеседование учителя с учеником. Учеником Бобовым (в патетическом смысле) я так и не сделался, но на докусан ходил, как и все остальные, отрываясь от дза-дзена, на второй этаж по вымытой мною же лестнице. Нужно было ждать возле книжных полок, с их собраниями сутр, сочинениями Судзуки первого и второго, корягами и камнями (которые брал я в руки, согревал в руках, рассматривая их кварцевые вкрапления, базальтовые прожилки), откуда не послышится из-за двери тихий и какой-то неуверенный звон Бобова колокольчика; тогда нужно было войти в докусановую комнату, поклониться Бобу, сидевшему на небольшом возвышении, опуститься на колени и опустить попку на пятки (традиционная японская поза, на мой вкус неудобнейшая), потом сложить руки перед собою традиционным, опять же, образом, с прижатыми друг к другу ладонями – так называемое гассё, – опять поклониться и произнести, всякий раз один и тот же бессмысленный текст: я – Алексей, я считаю дыхание, I am Alexei, I count my breath. А то он не знал, что я – Alexei и что I count my breath? Но это все равно нужно было повторять всякий раз, каждый день. И после этого нам уже нечего было сказать друг другу; Боб сидел на своем возвышении, как бы на невысокой эстраде, в том же вязаном свитере, тех же неджинсовых брюках, глядя на меня спокойно-сияющими глазами; такой же Боб, каким я только что видел его в столовой за поеданием вегетарианских Аникиных яств, или на кухне, где вместе со всеми он мыл иногда посуду; ничего торжественного не было во всей процедуре. Наверное, если бы я уже перешел от простого счета выдохов к решению коана (что бы сие ни значило), нам было бы о чем говорить; я бы предлагал ему свой ответ, он бы его отвергал, звонил бы в свой колокольчик – и я бы отправлялся, в отчаянии, обратно в дзен-до. Но Боб не задавал мне никакого коана, и на мою однажды высказанную робкую просьбу задать мне какой-нибудь – о собаке и «природе Будды», к примеру, каковой природой она, собака, по словам Джао-джоу, нет – *му!* – не обладает, вопреки всем принципам и всем учениям буддизма, – ответил, сияя глазами, с застенчивой и даже извиняющейся улыбкой, что все-таки нет – *по!* *му!* – лучше будет, если я просто продолжу считать свои выдохи, от одного до десяти, и так далее; поэтому докусан наш сводился к краткой беседе, почти даже светской, о том, как я оказался в Германии, и что делаю в жизни, и как себя чувствую здесь, на буддистском хуторе, в дзенском уединении. А я себя чувствовал, случалось, довольно скверно. Ноги и спина болели чудовищно; болели, немели; иногда и не встать было на ноги. Уже все ходили по кругу в комическом кинхине, а я все не мог подняться с подушки, все растирал ладонями пальцы и пятки. Пару раз я едва не грохнулся на пол. Никто не поддержал меня, не обратил на это внимания. Мне их внимание и не нужно было; но всегда противна телесная близость в сочетании с душевной далью. А тут близость была большая, коридорчики тесные. В шесть утра был ужас общей ванной, толкотня голых мужиков перед душевыми кабинками, напоминавшая о казарме, бане, бассейне, больнице – обо всех тех местах, которых избегал я целую жизнь, продолжаю избегать до сих пор. Еще глаза слипались, а надо было быстро-быстро принять этот душ, протолкнувшись в кабинку, почистить зубы, отодвинув от раковины соперника, чтобы в шесть тридцать уже сидеть на своей подушке в дзен-до, лицом к белой стене в пупырышках и подтеках масляной краски, которые (подтеки, пупырышки) я на второй день знал уже наизусть; в шесть тридцать и натошак смотреть на них не хотелось; еще меньше хотелось слушать невольные звуки, издаваемые сидящими рядом. Потому что урчали животы у них, в шесть тридцать и натошак, в деревенской, дзенской, целомудренной тишине; урчали, иногда мне казалось, у них у всех сразу, и в особенности у той несгибаемой спортивной тетки, которая до двух ночи просиживала в дзен-до; так громко, то в унисон, то перебивая друг друга, урчали у них вожделевские завтрака животы, что все это чем дальше, тем решительнее напоминало концерт лягушек в каком-нибудь поганом пруду, подернутом ядовитой ярко-зеленой

ряскою, и я видел внутренним взором этот пруд, эту ряску и тину, чувствуя, что сейчас станет мне дурно и что я сам до завтрака не досижу. Все это можно было вынести, но радости это доставляло немного. Я ведь в каком-то смысле типичный русский интеллигент, сказал я однажды Бобу, а русский интеллигент всегда находится в оппозиции к окружающему – это его основное, неотменимое свойство. Поэтому мне трудно не сопротивляться всему этому: этим людям здесь, всем этим правилам. Я здесь добровольно, я стараюсь я изо всех сил. А все-таки я вынужден преодолевать свое сопротивление, свое несогласие. А уж урчащие животы по утрам раздражают меня бесконечно... Вряд ли Боб разобрался в идиосинкразиях русской интеллигенции; попытка иронии тоже, наверное, от него ускользнула. Я очень боялся услышать в ответ какую-нибудь человеколюбивую банальность: эти люди здесь тоже, мол, люди, ничем не хуже тебя, а потому и нечего на них раздражаться, и вообще кто ты такой, русский интеллигент, чтобы раздражаться на кого бы то ни было? Ничего подобного я не услышал. Знаешь, сказал он, ты здесь для того, чтобы решать свои проблемы. И каждый, кто здесь находится, решает свои. Им нет дела до тебя, тебе нет дела до них. Так что не обращай ни на кого внимания. Если они тебе действуют на нервы, походи погулять в лес.

Свободные сосны

Что я и делал. И как русский интеллигент, презирающий правила, иногда звонил отсюда по мобильному телефону своей тогдашней подруге, звонил маме, уже довольно сильно болевшей, так что я и не мог бы прожить неделю, не узнав, как она себя чувствует, звонил еще кому-нибудь из эйхштеттских, мюнхенских и регенсбургских друзей, нарушая недельный обет молчания; для того, в сущности, и звонил, чтобы этот обет нарушить. Обеты, как и запреты, я думал, существуют для того, чтобы нарушать их. То ли дело обеды и завтраки... А между тем оно сгущалось и углублялось во мне, это молчание; из молчания внешнего становилось молчанием внутренним; иногда и вправду молча, ни к какому воображаемому собеседнику не обращаясь, никаких случайных слов не произнося про себя и случайных мыслей не думая, шел я в те короткие перерывы между дза-дзеном, которые оставались мне для прогулки, по весенней, скользкой, грязно-хлюпкой или уже подсохшей на солнце, со следами тракторных гусениц и отчетливыми колеями дороге, по косогору вдоль поля, утыканного сухими, серо-желтыми, низко срезанными стеблями прошлогодней горчицы, там и тут проступавшими из-под вычерченных по разным лекалам пятен круписто-бурого снега, – и дальше, через чащобу, с тоже прошлогодними, прелыми, по утрам еще схваченными морозом листьями, с высоким серым кустарником, к свободным соснам, уже на опушке, разбросавшим по земле рыжие иглы, к открывавшемуся за этими соснами иссиня-черному, распаханному и распаханному простору, стремящемуся свалиться за горизонт, с едва намеченной, уже облачной, недосыгаемой и совсем синей рощей по левому его краю; так и в таком, во мне сгущавшемся, а в то же время прозрачном молчании шел и смотрел на эти иглы, этот серый кустарник с двумя, нет, тремя продолговатыми красными ягодами, непонятно как пережившими зиму, ни одной голодной птицей не съеденными, эти сосны с их розовой и нежной корою, их ветками, веточками, это поле и небо – как если бы все это тоже было – молчанием, ландшафтом молчания, который узнавал я все лучше, изучал все подробнее. У меня было ровно двадцать восемь – не двадцать семь и не двадцать девять – минут, чтобы дойти до леса, посмотреть на свободные сосны. Мне приходилось, посмотрев на сосны, смотреть на часы; у меня не было чувства или только изредка бывало чувство, что я тороплюсь; просто каждая из отпущенных мне двадцати восьми (не семи, не девяти) минут обретала ценность, не свойственную обычным минутам, заранее не сосчитанным; времени было много, сколько угодно; в своем и моем молчании оно двигалось не вперед, как время, увы, имеет обыкновение двигаться, но вглубь, открывая там, в глубине, внутри уже отмеренного отрезка все новые перспективы, ходы, выходы и тропинки, подобно тому, как я сам открывал все новые подробности в ландшафте молчания (что, впрочем и разумеется, не мешало мне звонить из леса по мобильному телефону, мечтать об обеде и думать о том, чем же Аника попотчует нас на ужин: немногие и невинные развлечения, доступные пустынно-нику, постнику, столпнику).

Машкин Верх, Монблан мисочек

Столпники и трапезничали в молчании. В нем же мыли они посуду (как другие моют посуду в фартуке); процедура незабываемая. Была очередь, кто моет сегодня, кто завтра; посуды же после обеда из по крайней мере четырех блюд, съеденного пятнадцатью прожорливыми аскетами, было всякий раз непобедимое множество: Эверест тарелок, Монблан мисочек, растущий у раковины. Мы привыкли за жизнь произносить бессмысленные слова (дай мне вон ту чашку; возьми полотенце; а вот эту кастрюльку плохо, братец, помыл ты...); вдруг выяснилось, что можно не произносить бессмысленных слов, не произносить никаких; что все понятно и так и что достаточно взять полотенце, встать возле раковины, где домывает тарелки плотный дядька с брюсовскою бородкой (бородка, да и весь дядька казались до смешного русскими, замоскворецкими; при том, что дядька был чистейший немец, как впоследствии выяснилось, даже немец северный, прикативший на нижнебаварский хутор через всю страну, из самого Киля) – и дядька сам сообразит, что надо передать тебе в руки, в твое понемногу намочающее полотенце сперва одну, потом другую тарелку, извлеченную из воды, в которой полоскал он их все (по ужасной для русского человека привычке полоскать посуду не под струящейся из крана водою, а просто в раковине, где понемногу становится все больше пены и мыла; немец вообще не брезглив), а зеленоглазая и всегда облаченная в зеленую кофточку участница процедуры, с лицом уже чисто славянским, без всяких татарских примесей (она и вправду оказалась полькой, Иреной, единственной, с кем я дружу до сих пор), как раз покончившая с распределением стаканов по полочкам, сообразит, в свою очередь, что надо взять сухие тарелки, составленные тобою на столе возле раковины, отнести их в шкаф, закрыть дверцы. Никто ни у кого не спрашивает, что ему делать, никто, главное, никем не командует, Монблан мисочек уменьшается со сказочной быстротой. Конечно, вспоминал я всякое разное, вспоминал читанную когда-то, в прошлой жизни и в Библиотеке иностранной литературы, фразу Алена Воттса (Ваттса, Уотса, как кому нравится), гласящую, что «дзенская духовность» (Zen spirituality) вовсе не в том состоит, чтобы думать о Боге, когда ты чистишь картошку, а просто в том, чтобы чистить эту картошку; вспоминал даосское понятие не-деяния; слова Лао-цзы о том, что дао ничего не делает, но и ничего не оставляет несделанным; вспоминал и бессмертную сцену косьбы в «Анне Карениной», когда работающий с мужиками, по барской прихоти, Левин, поначалу отнюдь не уверенный, что вообще справится с тяжелым мужицким трудом, под косыми крестьянскими взглядами вдруг забывает то, что он делает, и тогда ему становится легко и все получается само собою: коса сама собой режет, и не просто сама собой режет, но, как пишет Л.Н.Т. (главный даос русской литературы), двигает за собой все сознающее себя, полное жизни тело, и ряд, скошенный Левиным, выходит так же, или почти так же, хорош, как у привычного к косьбе мужика с эпическим именем Тит, вслед за которым идет наш герой, срезая сочные травы, и вообще все удается, так что и какой-то крутой Машкин Верх, уже под вечер, одолевают раззадорившиеся косцы, подгоняемые, впрочем, обещанием водки от барина. Мытье посуды на хуторе в Нижней Баварии – дело не столь тяжелое и уж точно менее поэтическое, чем совместная косьба взыскующего истины помещика с только что освободившимися от крепостной неволи и тяготы мужиками, – а все же и я, улыбаясь сравнениям, окруженный реминисценциями, чувствовал, что (по словам Толстого, главного в русской литературе даоса) какая-то внешняя сила мной двигает, двигает и моими со-мойщиками, со-вытиральщиками, сила бо́льшая, чем простая сумма всех наших сил и усилий, как если бы (думал я) не только мы четверо или мы пятеро – зеленокофточная Ирена, и дядька с брюсовскою бородкой, и другие, забытые мною борцы за гигиену и чистоту – покоряли этот Эверест тарелок и мисочек в медитативном молчании, но как если бы еще кто-то их мыл и вытирал вместе с нами – летучебородые, похожие друг на друга, Лао-цзы и Л.Н.Т., и мушкетерскобородый Алэн (Алан) Ваттс (Уотс, Вотт), каким я видел его в

книгах и в Интернете, и еще не поседевший Левин, и даже мужик Тит, точивший левинскую косу, и старик, угощавший его своей тюрькой, – так что все (в последний раз упоминаемые на этих правдивых страницах) тарелки, миски и чашки почти без наших усилий, но сами собою, волшебным образом, оказывались вымыты, вытерты и расставлены, и у меня еще оставалось время, чтобы перед очередным дза-дзеном выйти на улицу, вернее во двор, где в огромную ржавую бочку с водой падали, стекая по желобу, величественные, изумрудные капли.

Этость и таковость

Высший путь не труден, нужно только отказаться от выбора, говорит Сэнь-цянь, третий дзенский патриарх, дхармический внук Бодхидхармы, дхармический прадед Хуэй-нэня, любимого нашего, в своем «Синь-дзин-мин», самом раннем дзен-буддистском тексте из всех нам известных. Не надо любить, не надо ненавидеть, тогда все будет ясно и прозрачно... Без этих слов редко обходился, или так мне помнится, Боб в своих тей-сё, ежеутренних поучениях и проповедях. Всегда медлил он, прежде чем начать говорить. Я сидел на своей подушке (да и все сидели на своих подушках, наверное) с уже почти привычным, но все равно чудесным чувством, что мы никуда не спешим, что на тей-сё отпущено по программе сорок пять минут (10.05–10.50), но внутри этих сорока пяти минут у нас времени неисчерпаемо много, время идет не вперед, но вглубь, или вообще никуда не идет, и Боб может сколько угодно ему молчать, не очень даже и важно, начнет ли он говорить. Если не начнет, это будет тей-сё бессловесное, какая разница, слова все равно случайны... Он сидел неподвижно, в полном лотосе, излучая молчание, в то же время и всем своим видом показывая, как это просто. Просто сидишь, никуда не торопишься. Ничего особенного, самое обычное дело. Высший путь не труден, нужно только от выбора отказаться. Забыть о любви и ненависти, тогда все будет прозрачно и ясно. Но как забыть о них? спрашивал Боб (со своих снежных вершин, из глубины своего молчания). Нам что-то нравится, а что-то не нравится; мы говорим: вот это хорошо, а это не очень хорошо, а это совсем уже плохо. Что бы ни случилось с нами, что бы ни встретилось нам, мы тут как тут с нашими оценками и суждениями. Поэтому мы всегда несчастны. Всегда несчастны, всегда недовольны. Мы несчастны, потому что мы сравниваем. Мы сравниваем что-то одно с чем-то другим; или сравниваем (улыбаясь и сияя глазами говорил Боб) то, что есть, с тем, что (по нашему мнению) должно быть. И, конечно, то, что есть, не выдерживает сравнения с тем, что должно быть. Поэтому всегда все *не так*. Всегда все как-то *не так*. И плохое *не так*, и даже хорошее как-то *не так*, не совсем *так*, не такое хорошее, каким оно должно быть, или могло бы быть, или должно было бы (по нашему мнению) быть. А на самом деле все именно *так*, все просто *есть*, оно не хорошее и не плохое, а просто есть: вот, говорил Боб, протягивая к слушателям руки ладонями кверху, как если бы он держал в них что-то ценное, хрупкое, круглое. Нет ничего на свете, что было бы само по себе плохо или само по себе хорошо. Что значит само по себе? Само по себе значит именно само по себе. Не в сравнении с чем-то другим, а именно само по себе. Сегодня плохая погода, а вчера была хорошая, сегодня у меня удачный дза-дзен, вчера был неудачный, сегодня у меня ноги болят сильнее, чем болели два дня назад, но не так сильно, как болели в прошлый четверг. Все это правда. В сравнении со вчерашней погодой сегодняшняя погода плохая, в сравнении со вчерашним дза-дзеном сегодняшняя дза-дзен замечательный. Но сама по себе сегодняшняя погода не плохая и не хорошая, она просто есть и просто такова, какова она есть. Высший Путь не труден, говорит Сэнь-цянь, надо только отказаться от выбора. Отказаться от выбора – значит отказаться от оценки, отказаться от оценки – значит отказаться от сравнения. Есть абсолютный и есть относительный аспект вещей. В относительном аспекте все всегда лучше, хуже, приятней или неприятней, удачней, неудачней, всегда нравится нам или нет, доставляет нам удовольствие или причиняет нам боль, приносит радость или приносит горе. В абсолютном аспекте нет ни хорошего, ни плохого, ни радостного, ни горестного, но есть только то, что есть, просто это, вот *это*, говорил Боб, вновь показывая свои раскрытые ладони, сразу обе, с чем-то, пускай незримым, но очень ценным, очень хрупким и круглым в них, вот *это* в его *этости*, *its itness*, его *таковости*, *its suchness*, говорил Боб, нежно-снежной улыбкой беря в кавычки искусственные слова. Конечно, мы все предпочитаем хорошее. Мы хотим быть здоровыми, и чтобы те, кого мы любим, были здоровы, чтобы все было у них прекрасно, превосходно, отменно, отлично, и это само по себе хорошо, что мы

хотим хорошего – для человека естественно желать блага себе и своим ближним, поэтому он, Боб, должен предостеречь присутствующих от изуверства и истязательства, от вериг, гвоздей и бичеваний. Мы живем одновременно в мире, где есть выбор, и в мире, где нет никакого выбора, где все всегда не хорошо и не плохо, а просто есть в своей таковости. В мире, где есть выбор, выбирайте хорошее, говорил Боб со своей сияющей и снежной улыбкой. Хорошее для себя и уж тем более хорошее для тех, кого любите. Если у вас болен ребенок, вдруг опуская глаза, в сгустившейся тишине говорил Боб, то вы все для него сделаете, все сделаете, чтобы он выздоровел или по крайней мере, чтобы облегчить его страдания. А в то же время, в абсолютном аспекте вещей, есть только то, что есть, *вот это* в его таковости, его этости; и *это*, он скажет еще раз, не хорошо и не плохо, а просто есть и потому хорошо. Оно хорошо не как противоположность чему-то плохому, а само по себе. Что значит хорошо? Хорошо – значит совершенно. Все совершенно просто потому, что оно таково, каково оно есть. Все обладает природой Будды, любая собака. Когда мы сравниваем, мы видим несовершенства. Но когда мы не сравниваем, не выбираем, тогда все правильно, все так, как должно быть. Даже болезнь, даже смерть. Смерть есть смерть, она сама по себе совершенна, говорил Боб. И болезнь есть болезнь. Болезнь – это плохо, когда мы ее сравниваем со здоровьем. Но сама по себе она есть просто болезнь, более ничего. Даже болезнь и смерть тех, кого мы любим, кто нам дорог, кого нам предстоит оплакивать всю нашу дальнейшую жизнь, говорил Боб в осязаемой тишине, даже и это просто есть или этого просто нет, что, в сущности, одно и то же. Да и наше горе, наша печаль, наши слезы, наше отчаяние – все это в абсолютном аспекте вещей и с дзен-буддистской точки зрения просто есть и более ничего. Откуда следует, что радость лучше горя? Радость – это радость, а горе – это горе, вот и все тут. Горе так же совершенно в своей *горестности* (its grievness) говорил Боб, как в своей *радостности* (its joyness) совершенна радость, в своей *отчаянности* – отчаяние, в своей *счастливости* – счастье.

Siberia

Он слышал такую историю о японских пленных во время Второй мировой войны, где-то... где-то в Сибири, не совсем уверенно говорил Боб, ища меня глазами, я помню, как будто ожидая от меня подтверждения, что есть такое место на свете – Сибирь, – о японских военнопленных, с которыми, конечно, очень плохо обращались там, в этой Сибири, in this Siberia, которых, например, заставляли таскать какие-то особенно тяжелые бревна, на очень сильном морозе... в Siberia вообще холодно, как все вы знаете... и не просто таскать, но охранники, guards, заставляли их утром перетаскивать бревна с одного места на другое, через дорогу, а вечером тащить обратно; их, значит, мучили не только физически, но и морально, их пытались унижить, убить в них последние остатки достоинства. Ничто ведь так не унижает человека, как тяжелый и при этом бессмысленный физический труд. Одного не знали изобретательные охранники – что среди этих военнопленных был буддистский монах, даже не просто монах, а буддистский учитель, *роси*. И этот роси сказал им примерно то же, что я вам говорил сегодня, со смущенной улыбкой сообщил Боб, то есть сказал им, что есть относительный и есть абсолютный аспект вещей и событий и что в абсолютном аспекте, с точки зрения нашей Подлинной Природы, или Природы Будды, или Высшего Пути, дао, или как бы мы ни назвали это, наши действия и поступки не являются ни хорошими, ни плохими, ни приятными, ни неприятными, ни осмысленными, ни бессмысленными, но они просто таковы, каковы они есть, они всегда совершенны и правильны в своей таковости (suchness), своей этости (itness). А значит, и таскание бревен с одного места на другое не может ни унижить, ни морально сломить военнопленного, а надо просто таскать эти бревна, ни на что не отвлекаясь, без всякой внутренней оговорки, таскать их в полной сосредоточенности на том, что ты делаешь, на своем *здесь-и-сейчас*, в медитативном молчании, как если бы это было главное дело всей твоей жизни. А ведь речь для них и шла о жизни и смерти. И как нетрудно догадаться, их довольно скоро избавили от этой работы. Они стали так ее делать, как будто она доставляла им удовольствие, да она и вправду, может быть, доставляла им теперь удовольствие; а доставлять удовольствие японским военнопленным совсем не входило в задачи их сибирских охранников, Siberian guards. Он не знает, было так или нет, говорил Боб, он никогда не был ни в плену, ни на войне, ни в тюрьме, но что он твердо знает и в чем много раз убеждался, так это в том, что даже самая неприятная, тяжелая, грязная, утомительная работа – мытье туалетов или заполнение налоговой декларации, – а второе, как всем нам хорошо известно (к молчаливому восторгу дзенских адептов объявил Боб), гораздо противнее первого, – любая такая работа перестает быть тяжелой, грязной и утомительной, если делать ее, забыв о себе, о своем маленьком я, всегда кричащем: *не хочу, не могу, ненавижу, хочу гулять, хочу смотреть телевизор...*

Сэнь-цзянь и Чжао-чжоу

Сейчас вы зададите мне дзенский вопрос, говорил Боб, окатывая нас сиянием своих глаз (хотя никто не собирался задавать ему и не решился бы задать ему никакого дзенского вопроса), сейчас вы зададите мне классически каверзный дзенский вопрос (продолжал Боб настаивать): где же разница между тем и другим, между относительным и абсолютным, есть ли вообще эта разница? Ведь пустота есть форма и форма есть пустота, говорит «Сутра сердца». Пустота есть форма, форма есть пустота, нирвана есть сансара, и сансара есть нирвана. Нет и не может быть никакого такого абсолютного аспекта вещей, оторванного от их относительного аспекта. Различие в нашем восприятии, в нашем видении, вот и все тут. Когда мы погружены в сансару, в дукху, в беспокойную неудовлетворенность, вовлечены в нее и потеряны в ней, мы видим только относительное, хорошее и плохое, приятное и противное. Но стоит нам хоть чуть-чуть отстраниться и успокоиться, сосчитать до десяти свои выдохи и сосредоточиться на Пустоте, как тут же понимаем мы, что все правильно, что это лишь наше маленькое иллюзорное *я* страдает и сравнивает, сравнивает, потому и страдает. Одной случайной мысли достаточно, чтобы превратить нас в обыкновенных людей, говорит Шестой патриарх, но и одной просветленной мысли довольно, чтобы из обыкновенного человека сделать Будду. Абсолютный мир не где-то там, за облаками, но это все тот же мир, в котором мы живем, вот это дзен-до, эти подушки, эти болящие ноги, это *сейчас*. Мы не соглашаемся с этим; мы хотим, чтобы такой абсолютный мир – где-то там – был; чтобы существовало – а мы бы к нему стремились – абсолютное состояние ума, в котором уже нет ничего случайного, никаких посторонних мыслей, только чистое небо самадхи... Это напоминает ему второй коан в «Гекиганроку», по-китайски «Би Янь лу», говорил Боб, очень важный коан, не случайно идет он сразу после первого, того самого, где Бодхидхарма сообщает изумленному императору, что есть лишь открытый простор, ничего святого, и что он сам, Бодхидхарма, не знает, кто он такой. В этом втором коане появляется в первый раз Чжао-чжоу (Дзёсю), всем вам памятный своим знаменитым *му!* своим *нет, не имеет*, говорил Боб с неожиданно-иронической, но по-прежнему светлой улыбкой (из которой мог заключить я, что среди молчавших и слушавших немало было таких, кто – уже годами, быть может, – мучился этим *му!*..); Чжао-чжоу, который много раз появляется и в «Мумонкане», и в «Гекиганроку», и появляясь, часто и охотно цитирует слова Сэнь-цзяня о выборе и отказе от выбора. Мы здесь видим уже старого Чжао-чжоу, говорил Боб, показывая рукою куда-то в сторону узкого окошка, как будто предлагая присутствующим увидеть этого старого Чжао-чжоу, появившегося среди нас, возле окошка в углу. Все посмотрели; никого не увидели. Высший путь не труден, обращаясь к собранию монахов, провозглашает учитель, надо лишь от выбора отказаться. А стоит заговорить об этом, так сразу с одной стороны – выбор, с другой – безоблачная ясность. Этот старый монах, говорит о себе Чжао-чжоу, в безоблачной ясности вовсе не пребывает, но вы-то о ней заботитесь, ее храните и бережете, не так ли? На это один из учеников отвечает вопросом: если вы, учитель, в безоблачной ясности не пребываете, то о чем тогда заботитесь? что храните и бережете? – Не знаю и этого, отвечает Чжао-чжоу. – Если не знаете, спрашивает монах, то как можете утверждать, что не пребываете в безоблачной ясности? – Довольно вопросов, говорит Чжао-чжоу, сделай свой поклон и уходи... Боб засмеялся вдруг дробным, добрым, наивным смехом, словно сам впервые услышал этот ответ Чжао-чжоу, о котором не раз, наверное, говорил со своими легендарными японскими учителями. Этот старый монах в безоблачной ясности вовсе не пребывает... Звучит как самоуничтожение, а на самом деле наоборот. Я-то понимаю, говорит Чжао-чжоу, что нет никакой безоблачной ясности, отдельной от выбора и страдания, что нет никакого абсолютного состояния ума без всяких случайных мыслей. Я это понимаю; а вы понимаете ли? Или все еще стремитесь к чистому небу без единого облачка? Он провоцирует своих монахов; один из них и

поддается на провокацию. Если вы, учитель, в безоблачной ясности не пребываете, то о чем тогда заботитесь? что храните и бережете? То есть о чем вообще речь? Ради чего все это? Зачем вы здесь? и зачем мы все здесь? Это очень правильный, логичный и разумный вопрос. Ну в самом деле, зачем мы все здесь, если не ради безоблачной ясности, свободы и просветления? Что же отвечает ему Чжао-чжоу? Я не знаю, отвечает он. Ничего не знаю, не знаю и этого. Это надо представить себе, говорил Боб. Чжао-чжоу к тому времени уже очень старый, очень знаменитый и уважаемый учитель, окруженный множеством монахов. И он отвечает: не знаю. Это страшный ответ, великолепный ответ. Это не менее страшный ответ, чем половая тряпка, или кипарис во дворе, или удар палкой, как, наверное, ударил бы монаха Линьцзы. И это ответ Бодхидхармы. Вы все помните, что отвечает Бодхидхарма благочестивому, изумленному императору. Кто это стоит сейчас передо мной? – Я не знаю. Так и Чжао-чжоу отвечает: не знаю. Здесь разговор, в сущности, окончен, сказать уже нечего, здесь с монахом могло бы произойти сатори. Но сатори не происходит, разводя руками и как бы извиняясь за недотепу-монаха сообщил Боб, монах остается в маленьком мирке своих понятий и слов. Если не знаете, то как можете утверждать, что не пребываете в безоблачной ясности? Как вообще вы можете утверждать что бы то ни было? Тут уже Чжао-чжоу видит, что толку на этот раз не добьешься. Вопросы задавать ты мастер, говорит он монаху, а дело-то совсем не в вопросах. Поговорили – и будет. Что ж, и мы скажем: будет, поговорили.

Бирманская поза

Спустя вечность в Вейле-на-Рейне, посреди всех этих воспоминаний, побуждаемый и пробуждаемый ими, я сел, в конце концов, не зажигая света, на уже не бугристой, но, под занавес, скалистой и гористой кровати, на подушку, вовсе не для того предназначенную, в так называемую бирманскую позу; сложил руки в дзен-буддистскую мудру и потом уже до самого утра то ложился, то опять начинал сидеть в дза-дзене, не пытаясь считать свои выдохи, но просто всматриваясь в прошедшее, раз уж оно решило вдруг ко мне возвратиться... Эта бирманская поза (голень одной ноги лежит параллельно другой, пятки смотрят, по возможности, вверх) – самая простая из еще приемлемых с дзенской точки зрения позиций; более продвинутые адепты предпочитают так называемый полулотос (стопа одной ноги лежит на бедре другой); в полном лотосе (с обеими стопами на противоположных бедрах) – королевская дзенская посадка – сидел один Боб; в полном лотосе сидел потом Виктор.

Боль

Боль в ногах – вкус дзен-буддизма, говорил кто-то из великих учителей, не помню кто именно. Ты разглаживаешь руками мат, взбиваешь подушку и принимаешь уже привычное тебе положение; ты ждешь, еще окончательно не застыв, покачиваясь вправо и влево, чтобы ведущий (им каждый день был кто-нибудь другой; никогда не сам Боб) ударил деревянной битой по большой медной миске, стоящей от него справа; вот ударяет он – один раз, второй и третий; и звук этого третьего удара долго-долго, медленно-медленно замирает и вибрирует в воздухе, в сгустившейся, вдруг осязаемой тишине; и теперь ты вправду *сидишь*, не шевелясь, опустив, но не закрывая глаза; видишь перед собою кусок белой стены, в пупырышках и подтеках; в погожий день видишь квадратное солнечное пятно, повторяющее, затем искажающее, растягивающее форму деревенского узенького окошка; невольно следишь за его перемещениями по стене, по дощатому полу; иногда видишь в этом искаженном квадрате света тень дымка от ароматической палочки, воткнутой в песок возле бронзовой статуи ясноликого Будды (с сомкнутыми в кружочек указательным и большим пальцами правой ладони, поднятой к плечу, повернутой к изнывающим от боли аскетам). Боль приходит – вот она я! – как будто она ждала лишь случая, чтобы показать тебе, кто в твоём теле хозяин; под конец первой двадцатипятиминутки ты и сам уже только ждешь, уже ни о чем другом и думать не можешь, когда же кончится эта пытка, когда смилостивится и ударит ведущий или ведущая (иногда Ирена, зеленоглазая полька, исполняла эту несложную роль) деревянной битой по медной миске и можно будет встать или попробовать встать на онемевшие ноги и пять минут походить в неизменно (с моей непросветленной точки зрения) комическом кинхине по кругу, но эти пять минут быстро заканчиваются, и все снова садятся на свои подушки, ты тоже, и ведущий снова ударяет по миске один раз, другой раз и третий, и звук третьего удара опять вибрирует в воздухе, и ты считаешь свои выдохи, смотришь в стену с подтеками белой краски, и ноги снова немеют и ноют, спина снова болит – а потом перестает вдруг болеть; вдруг замечаешь ты, что не только не ждешь конца, но боишься, не наступит ли он слишком скоро, что хочешь только сидеть и сидеть так, считая свои выдохи, никакой боли не чувствуя, что мог бы всю жизнь просидеть так, в этой неподвижности, этом покое, с этим чувством свободы, и что время опять идет не вперед, но вглубь, по своим, впервые открывающимся тропинкам, что все совершенно, хорошо и прекрасно в своей таковости, своей этости, что ты сам, в своей бирманской позе, совершенен, хорош и прекрасен, что ты сидишь правильно, прямо, между землей и небом, один в вечности, Будда, и когда ведущий ударяет в очередной раз, через двадцать пять бесконечных, но все же слишком скорых минут, своей битой по миске, встаешь с сожалением, со вздохом; и только вставая, вновь чувствуешь, как страшно онемели ноги, как чудовищно ноет спина.

Удар палкой

Иногда Боб ходил по кругу, за спинами у сидящих, с деревянной плоской палкой (*киос-аку*) в руке. Он не бил этой палкой кого и куда ни попадая, как это (читал я) бывает в некоторых (риндзайских) монастырях, но останавливался у тебя за спиной в ожидании, что ты сделаешь традиционный поклон со сложенными перед грудью – ладонь к ладони – руками; если ты делал его (а я всегда делал), тогда, еще подождав, чтобы ты распрямился, он примеривался, легким касанием намечал место, куда бить, и затем наносил резкий, короткий, с быстрым присвистом, удар по левому, затем, вновь примерившись, по правому плечу палкой, примерно там, где заканчивается ключица, чуть ближе к шее, удар, причинявший мгновенную, блаженную боль. Я пробуждался от этой боли. Я не спал, быть может, и раньше. Но все-таки я пробуждался – не ото сна, а от предыдущего бодрствования, теперь казавшегося дремотным и вялым. Таким сильным было это чувство пробуждения, что восторг меня вдруг охватывал. Один в вечности, Будда... Я знал, что дело не в этом восторге, что и он пройдет, как проходят все чувства, все мысли. Они и должны пройти во мне, прейти во мне, как облака по небу, как волны и рябь по воде, как отражения и отблески по поверхности того зеркала, которое оттирал я от пыли. Неважно, есть они или нет; пускай набегают эти волны, пускай тают эти легкие облака; важно не терять связи с тем, что за ними, под ними, с этой чистотой, пустотой, этим зеркалом, небом и океаном. Они проходили, они появлялись вновь. В этом глубоком покое мысли, ко мне приходившие, казались необыкновенными, важными, очень значительными. Каждая была как отдельное, белоснежное, скульптурное облако, во всех завитках и подробностях освещенное солнцем. Они не наплывали друг на друга, не сливались друг с другом. Я повелевал ими, я мог ускорить, замедлить их течение, их движение по небу. Мог отказаться от них от всех, оставить только небо, синеву, чистоту. Опьянение трезвостью, вакханалия ясности... Я был, наконец, свободен. Долго это не длилось. Появлялось одно облачко, другое и третье, каждое само по себе. Наши лучшие мысли приходят к нам не тогда, когда мы их призываем, а совсем наоборот – когда мы их не ждем, не зовем, когда мы говорим им: не приходите, когда пытаемся сосредоточиться на том, что за ними, на океане и зеркале. Вот тогда-то они и приходят к нам, по своей, не по нашей воле, вопреки нам самим. Мы по-настоящему начинаем мыслить, когда мыслить перестаем (думал я; и эта мысль тоже казалась необыкновенной, скульптурно-солнечной, очень важной). Чтобы начать мыслить, надо перестать мыслить (я думал). Мы боимся перестать мыслить, отпустить свои мысли. Мы боимся превратиться в чурбан (думал я – и смеялся; вдруг видел – большой, весь в зарубках от топора, с облезавшей корою чурбан, на даче где-нибудь, вечность назад; слышал запах дерева и опилок; видел, как по своим делам, по опилкам бегут куда-то рыжие милые муравьишки). Я вправду бывал очень счастлив: сквозь боль в ногах, на черной подушке. Мы не превратимся в чурбан, если отпустим наши мысли (я думал). Да это и не наши мысли (думал я далее). Это не мы мыслим, но это мыслит наша дукха, наше вечное недовольство, наша тревога, наши заботы, наши несбывшиеся надежды, неисполненные желания, утраченные или еще не совсем утраченные иллюзии, наше плохое или хорошее настроение, наша мигрень, наша боль в ногах, наше несварение желудка, наши мечты о любви, наша усталость, наша печаль и наше отчаяние. Когда все они, наконец, заткнутся, тогда мы сможем заговорить. Тогда наше внутреннее, наше подлинное я выходит на сцену. Значит, обычное я неподлинное? Значит, это лишь темный деспот с его вечно волящей волей? его вечным недовольством и всегдашней тревогой? Но где разница? где проходит граница между одним и другим? как отличить одно от другого? как отделить меня настоящего от темного деспота, пожирающего меня? Может быть, и нет никакого другого меня, кроме этого темного деспота, который умирает на утренней заре, едва лишь любовь пробуждается? Как же нет, вот я, вот я сижу здесь... Вот я сижу здесь, в бирманской позе, между землей и небом, один в мире

и вечности, и дело не в моих мыслях, моих вопросах или моих сомнениях, но в том и только в том, что за ними, в этом безоблачном небе, этой сияющей пустоте. Вот она, вот я вновь ее вижу и чувствую, и все опять хорошо, все *так* в своей *таковости*, и я бы всю жизнь хотел сидеть на этой подушке, в этом дзен-до, вдыхать сандаловый запах и прислушиваться к шелесту веток за крошечными деревенскими окнами, и где это читал я недавно, что истинный дзен-буддист должен *сидеть* всегда, что бы он ни делал, куда бы ни шел, чем бы ни занимался? Внутренне и в глубине души он должен *сидеть*, *сидеть* и *сидеть*, не расставаться с дза-дзеном, не выходить из самадхи...

Ирена

Ирена была (и остается) обладательницей очень зеленых, очень славянских, игриво-искренних глаз и зеленой кофточки (или многих кофточек, всегда и неизменно зеленых), которую (одну из которых) в холодном дзен-до надевала поверх дзенски черного джемпера; говорила она с мягким польским акцентом, при этом на классически правильном, даже каком-то гетевско-шиллеровском немецком; с середины восьмидесятых годов жила (и живет) во Франкфурте, служила (теперь не служит) диспетчером на аэродроме (что, как она потом мне рассказывала, оборачивалось в ее случае повторяющимся кошмаром, в котором не в ту сторону посланные ею самолеты сшибались, сгорали в воздухе, обезумевшими обломками падали на опаленную землю...). Когда сессин закончился и стало можно опять говорить, мы, я помню, сидели с ней на диванчике в той небольшой комнате между прихожей и столовой, где перед отъездом полагалось оставлять на столе деньги для Боба в стыдливом конверте, добровольную дань (по-японски и дзенски называемую – очередное магическое совпадение – *дана*) и где больше не происходило ничего, никогда. Нам хотелось уйти ото всех остальных, от буддистских адептов, сразу же, как только сессин закончился и обет молчания был снят, пустившихся выбалтывать ту энергию, которая накопилась в них за неделю молчанья, сиденья, выплескивать ее, как использованную воду, в ничтожных – о погоде, о расписании поездов, об общих знакомых, которые на этот сессин не приехали, о причинах, по которым не приехали они, – разговорах; то, что еще получасом ранее было сосредоточением, углублением в себя, вдруг превратилось в подобие вечеринки, в *small-talk* с коктейлем в руке, хотя никаких коктейлей никто, конечно, не пил, а пили чай, или воду, или (по немецкой привычке наливать разные жидкости в одну емкость) воду, смешанную с апельсиновым соком, или яблочным соком: как если бы (я подумал) все эти или почти все эти люди, только что погибавшие от боли в ногах, в борьбе со своими коанами или со своей пустотой, надели другие маски, другие личины; или лучше, как если бы за кулисами их внутренней драмы всю эту неделю ждали, томились другие, довольно обычные, личности, другие, непритязательные актеры, вот, получившие, наконец, шанс и возможность проявить себя во всей своей светской красе... Дядька с брюсовскою бородкой, прикативший на хутор с самого севера, оказался начинающим массажистом – в его возрасте смешно уже быть начинающим, сообщал он всем, кто желал его слушать, и он, дядька с бородкой, до последнего времени занимался совсем другим, работал в какой-то кильской конторе, чуть ли не государственной, в городской службе по охране окружающей среды, если не прямо в службе по обеспечению работой всех, кто хочет, и даже тех, кто не хочет трудиться (*Umweltamt, Arbeitsamt...*), но опротивело ему все это: службу бросил он, с благополучным бытием немецкого чиновника и с обеспеченной старостью распростился, занялся дзен-буддизмом, а поскольку жить ведь надо на что-то, то прошел и курсы массажистов, недавно закончил их, вот, перед началом нового этапа жизни решил сделать сессин, прикатил в Баварию, для него страну экзотическую, невиданную доселе. Не только закончил он массажистские курсы, сообщал брюсовобородый дядька всем прочим буддистам (вовсе слушать его не стремившимся), но и привез с собою из Киля, в своем дряхлом, но вместительном «Пассате» раскладной массажный стол и намерен теперь подарить – он так и выразился и с восторгом повторил выражение: подарить – массаж тому, кто этого пожелает, а он думает, что все пожелают, то есть он даже и представить себе не может, чтобы отказался кто-нибудь от такого подарка после всех испытаний, которым за семь дней подвергли буддисты нервы и мышцы своих страдальческих спин. Никто не спешил, однако, принять его царский подарок; на волю выпущенные светские персонажи предпочитали стояние с соком в руке, болтовню про общих знакомых; кто-то, наконец, согласился.

Сепп Мейер, Ганс Мюллер

С Иреной, и это я помню, говорили мы, сидя на диванчике в проходной комнате, о японских военнопленных, о которых на одном из своих тей-сё рассказывал Боб, которых заставляли таскать бревна утром туда, вечером через дорогу обратно. Мы одни только и понимали, наверное, что такое Сибирь, лагерь, вышка, вохра и шмон, в отличие от прочих искателей покоя, искательниц истины, имевших об этих материях представления завидно расплывчатые. Но никто из нас не знает, как он сам повел бы себя тогда и там, на том морозе, под окрики той вохры с собаками, говорила мне (с мягким польским акцентом, на классическом немецком) Ирена; никто не может за себя поручиться. Это были, верно, еще очень свежие военнопленные, не съеденные Гулагом, не доходяги. Потому что, будь они доходяги, уже все равно им было бы, есть какой-то смысл в их бревнах или нет никакого. А с другой стороны, говорила Ирена (обнаруживая познания, которых я все же не предполагал в ней), разве не рассказывает нам Солженицын, что его Иван Денисович тоже, в конце концов, с удовольствием, едва ли не с упоением строил какую-то стену, укладывал какие-то шлакоблоки?.. Прошел, остановился, подумал, похоже, не подсесть ли к нам, тот старик, который, единственный из всех, *сидел* на стуле, с которым, единственным из всех, за эту бессловесную неделю сложились у меня некие не нуждавшиеся в словах отношения; передумал и не подсел; прошел Боб и тоже, я помню, поколебался, не посидеть ли ему вместе с нами; поколебавшись, прошел мимо, в уборную. Это замечательный старик, сообщила мне Ирена; он ни одного сессина не пропускает... А я и сам видел, что старик замечательный. Жалею до сих пор, что не довелось мне больше с ним встретиться, поговорить поподробнее, уж очень не похож он был на всех прочих, со своим обветренным крестьянским лицом. Он представился мне по старинке, по имени и фамилии, когда познакомились мы еще в день приезда, причем и то, и другое такими были трогательно-простецкими, анекдотически-обыкновенными (Сепп Мейер, Ганс Мюллер...), что я ухитрился с тех пор забыть их, к стыду своему (то ли Сепп Мюллер, то ли Ганс Мейер...), но обращались мы на *ты* друг к другу (как это вообще в Германии принято в замкнутых кружках и ферейнах); как и Боб, ходил он в серых сельских штанах с давно не утюженной складкою (я думал, глядя на эти штаны, что он принадлежит, наверное, к тому последнему в Европе поколению простых людей, которые не надевали джинсы вообще никогда, то есть просто ни разу в жизни...) и в рубашке, тоже вполне крестьянской, фланелевой, всегда, как и у Боба, застегнутой на верхнюю пуговицу, да и вообще, по всему своему стилю и смыслу не сильно отличавшейся от Бобовой школярской ковбойки. Я таких стариков, с такими красными, обветренными, узкогубыми лицами, встречал еще в баварских сельских харчевнях, где пьют они свое пшеничное мутное пиво. Из такой харчевни он, казалось, прямо сюда и попал – или из сельской баварской церкви, в которую, думал я, на него глядячи, он, небось, ходил еще мальчиком петь в хоре и подавать ясы священнику, в которой теперь, спустя столетия, у него есть свое место, где-нибудь у колонны, никогда и ни при каких обстоятельствах не занимаемое односельчанами во время воскресной мессы... Он же и вправду попал сюда прямо из церкви, как сам рассказал мне по дороге на Ландсхут, куда мне посчастливилось подвезти его (я предложил ему, он сразу же согласился); то есть был простой баварский католический дедушка (Сепп Мейер или Ганс Мюллер), когда-то, тридцать лет назад, поехавший на неделю в католический же монастырь где-то на Рейне для тех таинственных занятий, которые у католиков, у иезуитов в особенности, именуются экзерцициями, о которых ничего я не знаю и которые в том давнем случае, по желанию проводившего их священника, соединены оказались с медитациями дзен-буддистскими (что в католических монастырях тогда было редкостью, с тех пор, по слухам, стало делом едва ли не обыкновенным); там-то и увлекся он дзен-буддизмом; через этого же священника познакомился впоследствии с Бобом. Когда я упал на лестнице во время *саму*, никто этого не видел;

я был один; но все видели, могли видеть, не хотели видеть, как я тру колено и морщусь от боли. Он молча ушел, возвратился и все так же молча, на меня не глядя, подал мне целлофановый пакет со льдом, который, видно, взял в морозилке на кухне; так же молча и на меня не глядя, вечером после ужина, протянул мне тюбик с болеутоляющей мазью (Voltaren), без комментариев и объяснений, даже и без улыбки (улыбка, видно, казалась ему чем-то слишком близким к запретным для нас словам). Ему было жаль меня, рассказывал он (улыбаясь) в машине; он уж подумал, что я до конца сессина не досижу. Молодец, досидел. У него этот сессин какой по счету? Он уже и не помнит; возможно, последний. Мне хотелось спросить его, как удастся ему, и ведь не ему одному, совмещать дзен с христианскою верою; спросить его я не решился (о чем жалею теперь).

Всесилие и всевласть

Был день снова зимний и мутный, когда мы ехали с ним сперва в Ландсхут, потом из Ландсхута ехал я в Регенсбург; синеватая снежная дымка мерцала над распаханными полями; долго, по бесконечным косогорам, тоненькими цепочками убегали черные, стынущие деревья; баварские, белые, всегда пустые деревни пролетали, не приглашая остановиться; над дорогой, на длинной ветке, сидела, высматривая добычу, большая, хищная, спокойная серая птица, хозяйка дороги, хозяйка округи. Я вел машину, и по сторонам смотреть мне было нельзя. Но я так же ясно все видел, казалось мне, как эта птица, замершая в своем одиночестве, на мутно-мерцающем фоне мартовского раннего вечера, все изгибы придорожных ручьев, все подробности деревенской рекламы, кружки пива и крынки альпийского молока на ободранных и мокрых щитах, автобусную остановку между двумя деревьями, под навесом которой, посреди ничего, сидели, болтали, курили, руками-ногами дрыгали две девочки-школьницы в черных, как тогда было модно, обтягивавших их простецки-пухлые ноги рейтузах, красную луковицу часовни на пустынном лугу у раскидистого, со всеми своими черными веточками прорисованного в сером воздухе дерева. Я все мог; я помню ощущение всевластья, всесилья, не покидавшее меня несколько дней. Помню, как ехал на велосипеде вдоль Дуная, мимо плотины, на свидание с моей тогдашней подругой, предполагая поужинать с ней в китайском ресторане на набережной; и хотя я чуть не каждый день ездил в город на велосипеде в ту пору вдоль Дуная и мимо плотины, эта поездка совсем была не похожа на предыдущие и последующие, так по-прежнему ясно видел я все, что видел: и облака, уже млечно-весенние, и готовые зазеленеть острова на реке, и красноверхие домики на другом берегу, и стеклянный вал воды за шлюзом, в котором, или, верней, под которым всегда металась какие-нибудь сучья и ветки, донесенные до этого места рекою, под которым в тот день перекачивался, подпрыгивал и падал огромный, обглоданный, светлый ствол очередного дерева, уже давно, я подумал, переместившегося из земной и воздушной в чуждую, водную, сверкающую стихию. Я был просто глазами, смотревшими на все это; или просто ногами, крутившими педали велосипеда; или даже самими педалями; колесами, шинами; блеском солнца на руле, на реке. Я всегда хотел бы жить так, с такой силой присутствия, с такой свободой от случайных мыслей, обыкновенно стоящих между мною и миром.

Бедро (не Иакова)

Я и теперь хотел бы этого. Всегда хотел и хочу до сих пор. Они, однако, утрачивались, эти свобода и сила; через неделю ничего от них не осталось. Через неделю я был таким же (или почти таким же, или по видимости таким же), каким был до сессина (тем же пленником дукхи и сансары). А между тем я *сидел* по-прежнему, даже больше, чем раньше, по пять раз в день или по шесть раз в день, в своей комнате; и когда вставал, то вставал с чувством, что вставать не хочу, что мерзит мне земная жизнь, со всеми ее делами, словами. Настоящий дзен-буддист должен *сидеть* всегда, что бы он ни делал, куда бы ни шел. Но *сидеть* в этом одновременно переносном и глубинном смысле у меня не получалось; все чаще казалось мне, что я просто теряю себя, вставая с подушки. Я больше не согласен был с этим; не готов был к этому; вынужден был вставать, куда-то идти, что-то делать, зарабатывать жалкие деньги (преподаванием немецкого и русского на каких-то кретинских курсах; настоящей работы у меня все еще не было); до тошноты отвратительно было теперь мне все это; я хотел, как Будда под деревом Бодхи, как Бодхидхарма лицом к стене, сесть и не вставать семь лет, девять лет, покуда все вопросы не разрешатся. Да они и так уже разрешались, стоило мне сесть на подушку. Ты садишься на подушку – и тишина наступает в тебе. Все опять хорошо; мысли успокаиваются; океан проступает за ними; чистое зеркало; спасительная, сияющая, безмерная пустота; бесосновная основа всей твоей жизни. Тогда зачем вставать, в самом деле? Жизнь как таковая потеряла для меня интерес. Иногда он вдруг вспыхивал; даже некие оживали надежды; вновь доставал, раскрывал я за предыдущие черные годы исписанные (исчерканные) мною тетради и рукописи; пытался продолжить что-нибудь из неудачно начатого, обреченного на провал; отчаивался; вновь (как в той венской гостинице) понимал, что никакого другого пути, кроме дзенского, у меня нет (пока нет, а там будет видно); и думал (в очередной раз) о том, что дзен есть взрыв образов, ложных образов (они все ложные), неправильных (они все неправильные) представлений о себе самом и о жизни; если я воображал себя сочинителем, то это такой же ложный образ, как все остальные; есть только то, что есть, вот сейчас: вот эти облака за окном, вот эта подушка; на нее-то я опять и садился то в бирманской позе, то (продвигаясь по дзенскому пути) в полуплотосе – и к концу лета почувствовал, что не только не хочу вставать (вставать, жить, куда-то идти), но и не могу встать, то есть встать-то могу, а идти не могу, такую нестерпимую боль вдруг чувствую в правом бедре, в правой ноге. Что-то случилось с этим правым бедром и правой ногою: то ли мышца растянулась, то ли нерв воспалился – никто не мог объяснить мне этого толком; ни один просто врач и даже ни один ортопед не давал прямого ответа; все они при упоминании о дзен-буддизме смотрели на меня как на более или менее опасного безумца – или не смотрели никак, думали о другом. Главная, в конце концов, задача всех немецких врачей, ортопедов, не ортопедов ли – поскорее убежать от пациента (в коридоре и в соседних приемных ждет еще дюжина страждущих); потому они выписывали таблетки или пробовали током подействовать, привязывали, вернее, приказывали своим фельдшерицам привязывать к злосчастной ноге моей разноцветные проводки, так что она дергалась, дрыгалась и вздымалась, обретая (уже окончательно) отдельную, полную приключений жизнь; по дороге домой опять начинала отстегиваться. Мне еще очень хотелось верить, что дело тут не в дза-дзене, что это как-то так само собою случилось, без всяких причин, да и больно было только когда я шел, а сидеть-то я мог и потому сидел – будь что будет, кто не рискует, тот не выигрывает, надо жить опасно (по слову – нелюбимого – Ницше).

Неповторимость, невозвратимость

Все было так и не так, когда я снова, во второй и последний раз, оказался, осенью того же года, на нижнебаварском буддистском хуторе, в аскетическом отрешении, вновь прерываемом лишь тайными звонками по мобильному телефону из на сей раз золотого, шафранового и червленого леса; так – и совсем не так, как полгода ранее. То, что было тогда открытием, сделалось теперь повторением. Опять я мыл лестницу, опять посуду мыли мы в медитативном молчании, вместе с зеленокофточной зеленоглазой Иреной и другими, не запомнившимися адептами (брюсовобородого дядьки на этот раз не было – видно, массажистская карьера его пошла полным ходом); опять были чудные Аникины яства, единственное развлечение дня; опять урчание голодных животов по утрам, концерт лягушек и оратория жаб в подернутом ядовитой ряской пруду. Так (я думал в Вейле-на-Рейне, сидя в бирманской позе на невозможной кровати или снова лежучи, на мгновение засыпая, опять просыпаясь) – так бывает (думал я сквозь засыпанье и пробуждение), когда мы во второй раз приезжаем в город, полюбившийся нам в первый приезд, город, в который, в тот первый раз покидая его, мы дали себе слово вернуться – и возвращаемся, и вот, возвратившись, узнаем и не узнаем этот город, и все действительно как-то не так, именно потому что все так же, потому что мы уже шли по вот этой улице с ее толкотней и платанами, и выходили на эту площадь с ее конной статуей, и сидели в этом кафе под аркадами, и как-то все грустно, даже наши друзья в этом городе постарели и погрустнели, и вообще они рады нас видеть, но замучены своими заботами, и наш приезд для них тоже повторение, и опять тащиться с нами на ближайшую к городу гору с замечательным и знаменитым видом со смотровой площадки или в ближайший замок, бывшую летнюю резиденцию местного князя, локального короля, сто лет назад изгнанного восставшим народом, им не то что совсем не хочется, но уже не так это для них интересно, как было, когда они впервые нам показывали все это и вместе с нами, нашими, еще всему изумлявшимся глазами, видели эту гору и этот замок; и, значит (думал я), нам надо приехать в третий раз и в четвертый, чтобы этот второй приезд сделался просто одним из многих, одним в череде приездов, и только, может быть, с третьего раза, преодолев и наивное очарование первого и столь же наивное разочарование второго, мы начинаем понимать уже не поверхностно, но отчасти уже изнутри этот чужой или уже не совсем чужой нам город, эту уже не совсем нам чуждую жизнь... Я втайне догадывался, однако, что третьего раза не будет; хотя, конечно, упорствовал и старался сидеть как можно лучше, считать свои выдохи и не теряться в набегающих мыслях, сохранять связь с пустотой за ними; иногда, я помню, спускался утром в дзен-до – после по-прежнему омерзительной толкотни голых мужиков перед душевыми кабинками – с твердой решимостью сидеть сегодня так хорошо и крепко, с такой сосредоточенностью, с какой не сидел накануне; и в таких случаях сидел особенно плохо, не в силах досчитать до десяти, как если бы сама решимость, с которой я брался за дело, становилась между мной и дза-дзеном, мной и дао, мной и *природой Будды*, вообще мною и всем, к чему я стремился. Я попробовал поговорить об этом на докусане (если наши необязательные беседы и вправду можно было назвать так) с (нисколько не изменившимся за полгода, таким же светло-сияющим) Бобом. Боб по-прежнему смотрел на меня со своих недостижимых высот, своих снежных вершин, из своего молчания, своего ничем не замутненного, не поколебленного присутствия, без всякой торжественности; я смотрел на него с угасавшей надеждой, что он задаст мне коан или вообще скажет что-то, из чего я мог бы заключить, что он принял меня в настоящие ученики; всякий раз он говорил мне, что все хорошо, все о'кей и чтобы я просто продолжал считать свои выдохи. Но как же считать их? – спросил я его однажды, как подходить и относиться к этому счету? Я иногда считаю сознательно и активно, как будто внутренне засучив рукава (Боб улыбнулся очень далекой, тонкой, понимающей все улыбкой), а иногда, наоборот, в духе даосского не-деяния,

в надежде, что все выйдет само собой, без напряжения и умысла, без волевого усилия. И так, и так получается плохо. И вот – что же мне делать? Ждать, чтобы выдох сам себя считал, чтобы цифры (четыре, пять...) падали, как созревшие плоды с согнувшейся под их тяжестью ветки, или – считать, в сознательном усилии, сесть и – считать, вопреки всему, будь что будет?

Бескрайнее небо, великолепное и пустое

Не помню, что мне ответил Боб; что-то дзенски-необязательное, уже привычное для меня, в том смысле, например, что надо оставить все эти рассуждения и просто считать свои выдохи, от одного до десяти, ничего больше не требуется. Ему самому требовалось, может быть, время, чтобы подумать над ответом, или так казалось мне, когда на другое утро я слушал его тей-сё, его проповедь, хоть я и говорил себе, что это слишком лестная для меня мысль и что уже по одному этому не стоит мне думать так. Все же казалось мне, что втайне отвечает он, сияя глазами, на мой вчерашний вопрос. Поговорим еще раз о Чжао-чжоу, которому обязаны мы столь многим... Мы привыкли видеть и в «Мумонкане», и в «Гекиганроку» уже старого Чжао-чжоу, не зря дожил он, по преданию, до ста двадцати мифологических лет; в коане, однако, о котором пойдет речь сегодня, одном из его любимейших, Чжао-чжоу, в порядке исключения, появляется совсем молодым, говорил Боб, вновь указывая рукою куда-то в сторону узенького окошка, вновь предлагая присутствующим увидеть этого еще юного, только начинающего свой дзенский путь Чжао-чжоу, где-то там у окошка сидящего или стоящего. Чжао-чжоу было восемнадцать лет, когда он пришел к своему учителю Нань-цюаню (по-японски Нансену; с ударением на втором слоге, не Фритьюфу...); года, наверное, через два, говорил Боб (еще продолжая смеяться), когда Чжао-чжоу было лет двадцать, а Нань-цюаню около пятидесяти, состоялся у них следующий разговор, после которого, если верить легенде, Чжао-чжоу испытал свое первое сатори – первое просветление. Что такое Путь (дао)? – спросил он у Нань-цюаня. – Твое обыденное сознание – это и есть Путь, ответил тот. – В таком случае надо ли стремиться к нему? – Если ты будешь стремиться к нему, ты от него отдались. – Но, спрашивает удивленный Чжао-чжоу, если не стремиться к нему, то как же тогда понять, что это в самом деле дао и действительно Путь? – Путь ничего общего не имеет с пониманием и непониманием, со знанием и неведением, отвечает Нань-Цюань. Понимание иллюзорно, а непонимание бессознательно. Когда достигаешь несомненного Пути, по ту сторону всех стремлений, то это как бескрайнее небо, великолепное и пустое. Разве можно говорить о нем такими словами, как истинное или ложное?

Вы спите, вам надо проснуться

Вот тут-то, объявил Боб, и настигло Джао-джоу его сатори, его просветление. И, конечно, мы все понимаем, о чем идет речь, понимаем Джао-джоу, его беспомощность, его замешательство. Куда сложнее понять Нань-цюаня. Если не стремиться к нему, то как тогда постичь дао? – спрашивает Чжао-чжоу – и все мы спрашиваем с ним вместе. Если перестать стремиться, стараться, то что тогда будет? Если мое стремление к дао лишь отрывает меня от него, то что же? не стремиться и не стараться? Вопрос, опять-таки, вполне законный, очень логичный. Мое обычное, повседневное сознание – уже Путь, уже дао, и стремиться к нему нельзя. Тогда зачем все это? Зачем искать истину, если я уже обладаю истиной? Зачем вообще что-то делать? записываться на сессин, приезжать на какой-то богом забытый хутор, сидеть на этой чертовой подушке (говорил Боб, к удовольствию и увеселению присутствующих), в этом дурацком дзен-до, зачем сходить с ума от этой боли в ногах, боли в спине, почему не разъехаться по домам, к своим семьям и детям? Вот вы смеетесь, сам смеялся говорил Боб, а ведь это вопрос всех вопросов, главный дзенский вопрос. Он мучил, например, Догена Дзендзи чуть не всю его жизнь, совсем не такую длинную, как у Чжао-чжоу. Доген ответил на него в конце концов и как все вы знаете, что садящийся на подушку уже просветлен, уже Будда. Именно поэтому и нужно *сидеть*. Так почему же все-таки? Одно дело знать, что обычное сознание уже есть дао, понимать это, верить в это, а другое дело – столкнуться с этим лицом к лицу, увидеть это воочию. Это видение мы называем кен-сё – непосредственное узрение своей истинной природы, природы вещей, природы Будды. Или мы это называем сатори – просветление. Или мы это никак не называем, не в названиях дело. Но это вообще не имеет отношения к знанию и незнанию, к истинному и ложному, хорошему и плохому. Пока это не случилось с вами, вы будете только копить знание или копить незнание, но ни то, ни другое вам не поможет, вас не спасет. Знание иллюзорно, а незнание... что же? незнание и есть незнание, неведение, ослепление, обыкновенная, не сознающая себя жизнь, самой себе чуждая жизнь. Простые люди там, за этими стенами (тут я не мог не подумать о баварском трактористе в его треугольной шапочке и как он небось хохочет при виде заторможенных придурков, обходящих вокруг дома медитативной цепочкой...) живут в неведении, вы живете и что-то, вам кажется, знаете. Вы считаете, вы их лучше? Вы ничуть не лучше. Их обычное сознание – само по себе Путь, и ваше обычное сознание – само по себе Путь. Но вы и они в равной мере оторваны от Пути. Вы пребываете в мире иллюзий. Ваше знание не менее иллюзорно, чем их неведение. Вы спите, а вам надо проснуться. Вы можете усвоить все уроки, выучить все коаны, прочитать все дзенские книги. Можете говорить себе по пятьсот раз на дню, что Высший Путь не труден, стоит лишь отказаться от выбора. Можете говорить себе: вот, вот оно, *это*, в его *этомости*, его *таковости*, абсолютный аспект вещей, природа Будды, все хорошо. Даже плохое – хорошо. Не хорошо и не плохо, и потому все-таки хорошо. Можете вдохновляться этим абсолютным аспектом вещей, можете плакать от счастья, можете смеяться от счастья... Все это, должен огорчить вас, не имеет большой цены. Это тоже всего лишь знание, всего лишь ваши мысли, а нужно бескрайнее небо, великолепное и пустое. Вот почему мы *сидим* здесь и вот почему Чжао-чжоу даже после первого сатори еще сорок лет оставался учеником Нань-цюаня (Нансена); когда тот умер, ему, Чжао-чжоу, было уже шестьдесят, говорил Боб (сам в ту пору только пятидесяти-с-чем-то-может-быть-летний); и хотя все вокруг его прочили в учителя, он, Чжао-чжоу, считал себя недостойным и неготовым, а потому отправился в двадцатилетнее странствие из одного монастыря в другой монастырь, заявив, что будет учиться у семилетнего ребенка, если тот мудрее, чем он сам, и учить столетнего старца, если найдет в нем меньше мудрости, чем у себя самого, – заявление, как вы можете догадаться (с извиняющейся улыбкой добавил Боб), в конфуцианском Китае, с его строгой иерархией и безусловным почитанием

старших, довольно скандальное; лишь когда исполнилось ему восемьдесят, обосновался он в провинции Чжао-чжоу (от которой и пошло его прозвище), чтобы еще сорок лет воспитывать собственных учеников, задавая им свои невозможные, отвечая на их растерянные вопросы (например и в частности, удовлетворенно улыбаясь, говорил Боб, на вопрос о собаке и природе Будды – своим знаменитым *му! не имеет!*, которое теперь доставляет нам столько мучений, покуда не преодолеем мы этот барьер, отделяющий нас от подлинной нашей природы...).

По каменистым дорогам

Преодолеть его я не надеялся. Не то чтобы я решил однажды сойти со своего дзенского пути, все более трудного, тяжкого (как некогда в венской гостинице решил вступить на него); я, в сущности, никогда и не сходил с него, и впоследствии, в разные периоды жизни, в одиночестве и не в одиночестве нередко и подолгу сживал, случалось, в дза-дзене (в Эйхштетте, уже с Виктором; и потом, много позже, в дзенской группе во Франкфурте, куда, впрочем, захаживал я скорее как не особенно званый гость, как сторонний, хотя и заинтересованный наблюдатель); случается мне и теперь садиться на черную, все ту же, подушку; никаких решений не принимал я, но решимость ослабевала во мне. Правой ноги было жалко, да и левой бы я не пожертвовал. А между тем воспаление нерва, или растяжение мышцы, или как бы ни называл это очередной ортопед, приобрели такую наглость и мощь, что уже я и по лестнице не знал, как спуститься; и только с появлением в моей жизни старого перса, практиковавшего в ту пору иглоукалывание на регенсбургской окраине, замечательного старого перса, сразу, как только он тебя видел, кидавшегося к тебе с прямо-таки в глазах его светившеюся мечтою поскорее куда-нибудь чем-нибудь тебя уколоть, быстро-быстро, ты и рта не успеваешь раскрыть, втыкавшего в мочки твоих ужасающихся ушей длинные острые иглы (после чего ложился ты на диван в завешенной тяжелыми коврами темной комнате и долго лежал там в обществе других исколотых ишиатиков, постанывающих подагриков, безуспешно пытаюсь вообразить себя в ориентальном раю, в окружении *гурий*, не знакомых с радикулитом) – лишь с появлением этого чудесного человека в моей жизни боль начала стихать, хотя дело было, возможно, отнюдь не в его иголках, уж тем более и как это ни печально, не в *гуриях*, а просто в том, что все меньше и реже, не семь раз и даже не пять, но хорошо, если раз в день, по утрам, сидел я в своей скромной бирманской позе, уже не посягая ни на какой полулотос... Конечно, он был где-то рядом, тот мир свободы, где нет ни пыли, ни зеркала, то пространство парадоксов, которое в молодости так меня поманило, но, может быть, именно потому, что я сделал первые, робкие шаги в его сторону, этот искомый и взыскуемый мир отдалился от меня на расстояние неизмеримое, неодолимое – как горная вершина, с ее гордыми сияющими снегами, которая кажется совсем близкой – рукой дотянуться! – когда мы смотрим на нее из окна, скажем, поезда, скользящего по зеленой, прелестной, еще не сожженной солнцем равнине, и вполне недостижимой оказывается, как только, сойдя на задрипанном полустанке, мы отправляемся пешком в ее сторону, по каменистым и пыльным дорогам предгорья... И вообще все менялось, сдвигалось, перемещались горизонты жизни, другие в ней намечались возможности; в феврале 2001 года мне предложили, наконец, настоящую работу, все в том же идилически-католическом Эйхштетте, на кафедре восточноевропейской истории, с ее разнообразными проектами и программами (что и привело летом все того же 2001 года к моему знакомству с Виктором М., соискателем, затем обладателем стипендии Германской службы академического обмена); и хотя университетский человек во мне и был, и остается внешним моим человеком, мне самому довольно неинтересным, ни в какое сравнение не идущим для меня с дзен-буддистом во мне, тем более с сочинителем во мне, все же эта работа, отнимавшая, особенно поначалу, много времени, мыслей и сил, заставила меня задуматься о вещах, о которых я прежде не думал, прочитать книги, до тех пор не прочитанные; главное же – вновь я чувствовал, как некогда в молодости, что скоро *домолчусь* до каких-то слов, других слов, новых слов, что сами мои дзенские опыты и были этим большим молчанием, из которого приходят слова. А если домолчусь до них, то, как банальнейший карточный домик, рассыплются все мои рассуждения о взрыве образов и об отказе от сочинительства. Взрыв образов? Да идите вы к черту. Важно или не важно сознавать себя кем-то и кем-то? Никто не знает, кто он на самом деле, и я не знаю, кто я на самом деле, и совершенно все равно мне, сознаю я или не сознаю себя сочинителем, но если мне удастся

написать не совсем постыдные стихи, не совсем постыдную прозу, я и думать забуду обо всех своих рассуждениях, а буду думать только об этой прозе, об этих стихах... Моя дзенская эпоха заканчивалась, короче; все-таки, вновь переехав (скрепя сердце) в крошечный католический Эйхштетт, еще искал я буддистские знакомства и связи; даже, как ни странно, нашел.

Бенгалия, Бенарес

Университет притягивает сумасшедших, бродяг, чудаков и оригиналов разного рода, разной степени оригинальности. Почему-то местные бродяги и полубродяги полюбили пить пиво в университетском кафетерии, летом – на лужайке перед ним или возле кофейного автомата в замечательном, насквозь стеклянном здании центральной эйхштеттской библиотеки (построенном, кстати, не кем-нибудь, но Гюнтером Бенишем, создателем, среди прочего, мюнхенского олимпийского стадиона). Они тихо сидели там, эти бродяги и полубродяги (понимая, наверное, что иначе их выгонят; или в силу природной скромности, тихости, вообще свойственной католическим баварским полубродягам), ни со студентами, ни тем более с преподавателями разговоров не затевая, своим отдельным кружком. Все же с одним из них вступил я однажды в беседу, не помню уж по какому случаю, и с тех пор всегда беседовал (именно беседовал, спокойно и обстоятельно), когда встречал его на какой-нибудь университетской дорожке. Звали его Гельмут. Он был толст и с годами становился все толще; ездил сперва на велосипеде (из той породы толстошинных, низкорослых велосипедов, на которых можно кататься якобы по горам), затем, обленившись и окончательно растолстев, на маленьком, еще более толстошинном и для катаний по горам уже не пригодном, я думаю, мотороллере; отрашивал с годами все более безумную, понемногу седеющую бородку (в конце концов превратившуюся из бородки в бороздку, бежавшую от нижней губы по первому подбородку к подбородку второму и дальше, к складкам мясистой шеи); не занимался, кажется, вообще ничем в жизни; пил пиво и философствовал. Философские воззрения Гельмута отличались от всех прочих известных мне философских воззрений своей совершенной неопровержимостью. Главное, чтобы не было войны, говорил он, разглаживая седеющую бородку-бороздку толстыми короткими пальцами. Что можно было возразить на это? Конечно, лишь бы не было войны. Война – это самое страшное, говорил Гельмут. С чем тоже было трудно не согласиться. Политика – это всегда обман, заявлял затем Гельмут, прозрачными голубыми глазами всматриваясь в прозрачную голубую дымку окрестных холмов. Тоже, в общем, утверждение неоспоримое. Так стояли мы, придерживая наши велосипеды, на полпути от библиотеки к кафетерию, когда проехал мимо на скрипучем стареньком велике другой местный оригинал, что-то баварски-гортанное, непонятное мне, прокричавший вполборота в ответ на обращенное к нему Гельмутом, тоже не понятное мною, баварское замечание, судя по интонации и выражению Гельмутовых подбородков, вполне ироническое. А этого ты знаешь? – спросил Гельмут. Это Кристоф, бхагаван, далай-лама. Что? – спросил я. Бхагаван, йог, Рамакришна, сказал Гельмут, вращая у толстого лица толстой ладонью. Опять, небось, в Индию собрался. Псих, короче, святой человек... Кристоф (бхагаван, Рамакришна...) оказался сыном автомеханика из соседней деревни; с местными полубродягами он пива не пил, но полубродяги все его знали (одна странность притягивает другую); не только ездил он в Индию, в Таиланд, в Тибет и в Японию, причем, как я выяснил из первого же с ним разговора, ездил туда без денег, то есть вообще без денег (поскольку отец, автомеханик, и брат, автомеханик тоже, никаких денег ему, чудаку, не давали), нанимаясь чуть ли не матросом на сухогрузы, чтобы доплыть до стран своей детской и взрослой мечты, но и где-то в Германии (сейчас не помню, где именно) долго (год или два года) жил он (и собирался снова жить, и даже совсем, может быть, поселиться, *постричься*) в католическом монастыре с дзен-буддистским уклоном и на мое предложение *посидеть* как-нибудь вместе отозвался с охотой. А вот как он, собственно, выглядел, этот Кристоф, и какая была в нем *отличительная черта*, была ли вообще какая-нибудь, этого, как ни старался я (изнемогая от бессонницы на бугристой и гористой кровати), уже я не мог, не могу и сейчас вспомнить, и, значит, была в нем та стертость, незаметность, неброскость всего облика, всей манеры вести себя, которую так часто наблюдал я у религиозных, не только буддистских, людей. Были, как и у Виктора в ту далекую

пору, и даже длиннее Викторových, светлые, нисколько не рязанские, но все-таки кудри; была, как у Васьки-буддиста в пору совсем далекую, уже легендарную, кожаная ленточка, которой он перетягивал их... Я, наверное, теперь не узнал бы его на улице, как сразу узнал бы, не сомневаюсь, симпатягу Гельмута с его бородкой-бороздкой. Всего-то и *сидели* мы с ним, до появления Виктора, несколько раз у меня дома, в квартире, которую я снимал тогда, в большой комнате с видом на красные крыши, башни и купола бесчисленных эйхштеттских церквей, голые холмы с друидическими камнями; Кристоф, оставаясь у меня после наших посиделок пить зеленый чай из пиалушек более или менее восточных, купленных мною в китайской лавочке в Ингольштадте, рассказывал о своих приключениях и путешествиях, причем рассказывал о них с неким (или память другого не сохранила?) гастрономическим уклоном – то о дешевых столовых в (мифологической на мой слух) Бенгалии, где еду подавали не в тарелках, но на больших пальмовых листьях, каковые листья посетители, откушав, бросали просто-напросто на пол или оставляли на столах, так что уже посетители, пришедшие следом, со столов их, недолго думая, смахивали, и на полу образовывался все более плотный настил из этих листьев вкупе с объедками; то об обеде на станции, по пути в (не менее мифологический) Бенарес, где тарелки как раз были, но лучше бы их не было, потому что обед этот быстрые, что-то друг другу все время кричавшие официанты приносили прямо в вагон, и главной заботой их было, чтобы путешественник не увез с собою тарелку, почему они и стояли над ним, покуда он поедал поданное (обжигаясь, лихорадочно сглатывая), и норовили у него тарелку вырвать из рук, и правда вырывали ее, когда переполненный поезд вдруг дергался, если же, дернувшись, замирал снова, то совали тарелку обратно в руки изумленного путешественника, который уж и не рад был, что с ними связался... Все же до этих гастрономических рассказов *сидели* мы, и Кристоф *сидел* хорошо, сосредоточенно (такие вещи чувствуются, когда *сидишь* вдвоем с кем-нибудь), и даже подумывали о привлечении других участников в нашу дзен-буддистскую группу, но привлекли, ненадолго, одного только Виктора – не сразу после его, Викторова, приезда в этот причудливый городишко, но лишь после нашего с ним взаимного разоблачения в качестве дзен-буддистских адептов (он, в отличие от меня, был действительно таковым).

Виктор

Я поначалу не выделял его (скажу снова) из общей толпы студентов; заметил его заикание; заметил (их нельзя было не заметить) его преувеличенные (как на старых фотографиях и в старом кино), сумасшедшие, страдальческие, осмысленные глаза; но больше о нем не думал. Еще пару раз видел его бегущим по берегу местной речки (Альтмюля), с бурно поднимавшейся атлетической грудью и бившейся о мокрый лоб рязанско-чухонской прядью тогда еще не сбритых волос; казалось, что этот бег был его главным занятием, главной страстью. Почти не помню его на занятиях университетских. Полагаю, он просто воспользовался, как многие, стипендией и учебой, чтобы оказаться на Западе, поначалу, может быть, и не собираясь здесь оставаться. Его равнодушие было более глубоким, чем обыкновенно бывает у таких студентов (таких стипендиатов), хотя он вовсе не выставлял это равнодушие напоказ, худо-бедно, значит, делал свои (забытые мной) рефераты, писал свои курсовые работы (забытые мною тоже), но (вот это я запомнил) на занятиях и семинарах как будто отсутствовал. Отсутствовал он не в том простейшем смысле, в каком отсутствуют на занятиях плохие студенты, витающие в мыслях и облаках, блаженно безразличные ко всему, что там болтает дурак-доцент об авторитарных и тоталитарных режимах, о роковых особенностях русской истории, об опричнине, земщине, вотчинном государстве, но отсутствовал сосредоточенно и потому сердито, с выражением лица отнюдь не мечтательным, скорее суровым. Никакого дела не было ему до вотчинного государства, даже и до опричнины. Литература? Литература не интересовала его. И в обществе других студентов, студенток я его что-то не помню, и на тех (немногих) студенческих вечеринках, где я бывал (преподаватель отделен от своих все более молодых учеников прозрачной, но непреодолимой преградой), я его, кажется мне, не видел. И никакой, что называется, девушки у него, по-моему, не было. Я видел его всегда в одиночестве, бегущим или куда-то едущим на (допотопном, потому что явно подержанном, за гроши купленном) велосипеде по этой пустынной местности, пустынным дорогам. Он уезжал далеко; так далеко, как мне самому и в голову не пришло бы поехать на велосипеде. Не сразу и понял я, что это он, увидев как-то, по очередному пути из Эйхштетта в Регенсбург, его одинокую фигуру на шоссе неподалеку от уже упомянутого мной Дитфурта (того крошечного, но вполне средневекового городишки, в котором знаменитый в немецких дзенских кругах иезуитский патер Гуго Эномия-Лассаль построил некогда, с узенькими окошками, павильон для медитаций, во францисканском монастыре), то есть от Эйхштетта уже в каких-нибудь сорока километрах; так неожиданно увидел его на этой дороге, выходящей по все той же долине Альтмюля, между рекой и лугами с одной, холмами с другой стороны, между черных деревьев с обеих, что даже не успел затормозить, тем более что от ближайшего к Дитфурту, тоже крошечного (и тоже вполне себе средневекового) городишки насадил на меня – однако не обгоняя (дорога извилиста) – мерзкий, маленький, белый и крытый грузовичок, ведомый толстым, буро-красным, черно-усатым дядькой, должно быть турком, хорошо различимым в зеркальце; лишь когда оба мы обогнали пригнувшегося к рулю Виктора, дядька тоже пошел на обгон (как если бы идея обгона, проникнув в его усатую голову, потребовала продолжения); еще долго видел я все в том же зеркальце на пустынной дороге среди черных деревьев Викторов убывающий облик, наконец проглоченный очередным поворотом; и я до сих пор не знаю, заехал ли он в такую даль в спортивно-велосипедном или в дзенском усердии, вообще слышал ли о существовании иезуитского дзен-до во францисканском монастыре.

Виндельбанд, Рикерт, Ласк

Ему пришлось зайти в мой университетский кабинет – то ли ему какая-то справка была нужна, то ли о курсовой работе хотел он поговорить, – чтобы наше взаимное разоблачение, наконец, состоялось. Это было, если ничего я не путаю, уже в конце его первого в Эйхштетте зимнего семестра, значит, в январе-феврале 2002 года. Уже начал Виктор, заикаясь, говорить о своей справке, своей курсовой работе, как вдруг – это *вдруг* вспыхнуло в его осмысленно-сумасшедших глазах – увидел у меня на столе книгу Эйгена Герригеля (Ойгена Херригеля в ныне принятой пошлой транскрипции, будь она проклята...) «Дзен в искусстве стрельбы из лука», уже упомянутую; маленькую, в белой суперобложке, книжку, которую одно время часто читал я, которую он, Виктор, тоже, как выяснилось, читал нередко, немало. Он протянул к ней руку, тут же руку отдернул, одернул себя, спросил, м-м-можно ли, покраснел, взял ее в руки. Он был удивлен, и я сразу понял, показалось мне, почему. Мы ведь все живем, по крайней мере по видимости, одновременно в разных мирах, не сообщающихся сосудах. Для меня самого мои дзенские опыты ничего общего не имели с университетской работой; мне и в голову не пришло бы заговорить о них с кем-нибудь из коллег, тем более из студентов; и если брал я с собой на службу какую-нибудь дзенскую книгу (как напоминание о моей внутренней, подлинной жизни), то всякий раз (кроме, значит, вот этого раза) прикрывал ее другими книгами, или бумагами, от посторонних взоров, стороннего любопытства. А на самом деле все со всем связано в мире (думал я, лежа на бугристой кровати, садясь в бирманскую позу); все со всем как-то в мире перекликается... Вот вы к-какие к-книги читаете? – проговорил Виктор, покраснев, страдальческими, сумасшедшими и осмысленными глазами посмотрев на меня. Да, вот такие. Он читал ее, еще бы он ее не читал, говорил Виктор, отвечая на мои вопросы, глядя опять в окно, где на ветках деревьев, на автомобильной стоянке за ними, на капотах и крышах переночевавших на стоянке машин, и на верхушке серой стены, скрывавшей кладбище за стоянкой, и на крышах дальних домов, уступами взбиравшихся вверх по холму, блестел, сверкал, вспыхивал, когда сквозь сизую рябь неба пробивалось солнце, легкий, готовый растаять снег. Он много читал обо всем этом, о дзен-буддизме и о буддизме как таковом, говорил Виктор, краснея и заикаясь; в Петербурге, бывало, захаживал в бурятский буддистский храм – дацан – на Приморском шоссе, хотя тибетский буддизм никогда не занимал его так сильно, как дзен. Чему вы улыбаетесь? – Воспоминаниям мятежной молодости, чему же еще... А известно ли ему, спросил я (в продолжение вечной темы тоталитарных и авторитарных режимов – как если бы этот кабинет, этот вид из окна, эти студенческие работы, лежавшие передо мной на столе, заталкивали меня обратно в роль университетского преподавателя, говорящего о том же, о чем он привык говорить на занятиях), известно ли ему, спросил я, что вот этот самый Эйген Герригель, когда возвратился из Японии, где в двадцатые годы преподавал философию и учился стрельбе из лука, пытаясь таким образом приблизиться к таинственному дзену, который понимал он, и не он один в то время, как своего рода мистику, что этот замечательный Эйген Герригель, философ-неокантианец, ученик, между прочим, Виндельбанда и Рикерта, ближайший друг погибшего в Первую мировую войну Эмиля Ласка (говорил я, окончательно впадая обратно в роль университетского преподавателя), что в тридцатые годы он сделался заправским наци, членом НСДАП, профессором, в конце войны даже ректором Эрлангенского университета и писал в те годы другие, чудовищные и забытые, тексты? Вот, сказал я (чувствуя, что говорю банальность), как все непросто... Виктор смотрел по-прежнему в окно, на проступавшие из-под снега желтые пятна песка, которым покрыта была стоянка, узоры и линии следов автомобильных и человеческих, блестящих на этом песке, сверкавших на этом снегу.

Дзен на войне

А как раз незадолго до нашего взаимного разоблачения – в конце, кажется, девяностых годов – появился немецкий перевод еще чуть раньше опубликованной книги новозеландского автора со странным именем Брайан Викториа (или Виктория; Brian Victoria), книги, в оригинале называвшейся «Дзен на войне» (Zen at War), по-немецки «Дзен, национализм и война» (Zen, Nationalismus und Krieg), фурор и переполох произведшей в буддистских кругах; книги, из которой выяснилось, что все не так безоблачно и не так безобидно, как полагают невежды, охотно объявляющие буддизм религией мира, братства, разноцветных флажков, экологических подсолнухов, улыбок и поцелуев; выяснилось, ко всеобщему переполоху и ужасу, что не только Герригель, но и – *horribile dictu* – сам Д.Т. Судзуки, и другие, не менее знаменитые дзенские учителя ухитрились себя скомпрометировать во время войны, военной диктатуры и военных же преступлений и что вообще дзен-буддизм, когда запахло жареным, вполне оказался готов и способен, не хуже любой другой конфессии и даже лучше многих других, пойти на службу к власти предрержащим и прославить организованное убийство. Кодо Саваки, к примеру (1880–1965), имевший в старости и до сих пор имеющий репутацию святого, юродивого, нищенствующего монаха, бродившего по деревням и дорогам и дружившего только с детишками, на самом деле, покуда мировая война не закончилась и сам он не отправился дружить с детишками, с большой настоятельностью призывал японских солдат к совсем иным удовольствиям, которых в молодости и сам не чуждался: еще во время Русско-японской войны, рассказывает он во впервые переведенном Брайеном Викторией на английский язык мемуарном отрывке, такое наслаждение доставляло ему с товарищами убивать русских, что они прямо удержу не знали, а когда получилось загнать врагов в какой-то, что ли, овраг, где их так удобно было расстреливать по одному, то это уж было наслаждение высочайшее, ни с чем не сравнимое. И что это за дьявол такой? – спрашивал один японский солдат другого японского солдата, показывая на него Саваки, невольно подслушавшего их разговор. А это просто дзенский монах, отвечал тот. Понимаю, заметил на это первый. Таким и должен был монах школы дзен. Настоящий мужик, не рохля... А другой, особенно на Западе знаменитый буддист Харада Дайун Согаку (1870–1960), сооснователь, вместе со своим не менее знаменитым учеником Ясутани Хакууном (1885–1973), движения Санбо Киодан, соединившего дзен школы Сото с дзеном школы Риндзай и, наверное, оказавшего самое глубокое влияние на дзен в Америке и в Европе, – так вот этот самый для его европейских и американских послевоенных поклонников тоже чуть ли не святой Харада Дайун писал, прежде чем сделаться святым на Западе, в статье с чудесным заглавием «Единый путь дзена и войны» (1939 год): «Приказано маршировать – марш-марш, маршируй, а приказано стрелять – пенг-пенг, стреляй. Вот проявление высшей мудрости». По-русски *пенг-пенг* будет, что ли, *бум-бум*, но это неважно. А ученик его Ясутани уже в 1943 году, за два года до поражения Японии и гибели возлюбленного им Третьего Рейха, рассуждал о страшной опасности, исходящей от демонических учений мирового еврейства, поскольку еврей-де, воображая себя, без всяких на то оснований, народом богоизбранным, разработали хитроумный план, как подчинить себе все прочее человечество, и весь смысл современных, как выражается он, потрясений как раз и состоит в борьбе с этими подлыми происками; рассуждения из уст японского мудреца и аскета особенно очаровательные, если учесть, что никаких евреев в тогдашней Японии не было и он сам, поди, отродясь их не видывал.

Темные тайны

Мне же впервые рассказал об этой (на поверку скучноватой) книге тот не скажу, что друг, но, во всяком случае, давний приятель мой Рольф-Дитер М. (тоже М.), к которому собирался заехать я (в Тюбинген) на обратном пути из Вейля-на-Рейне, на другой день после этой бессонной гостиничной ночи (все еще длившейся, упорно и мучительно не желавшей заканчиваться; хотя как я к нему или вообще куда-нибудь и к кому-нибудь после этой бессонной ночи поеду? в каком буду виде и состоянии? – спрашивал я себя, переворачиваясь с боку на бок, затем опять садясь в бирманскую позу...) – Рольф-Дитер М., по роду занятий и складу жизни философ, двухметровый и вообще замечательный человек, с которым познакомился я в 1998, если не ошибаюсь, году, на конференции в Гейдельберге, посвященной разнообразным «культам личности» в двадцатом, как раз готовом завершиться, столетии; в перерыве, помнится, между двумя докладами, в разговоре со мною и моим другом Павлом Двигубским, делавшим там сообщение о д'Аннунцио и его «Фьюманской республике» (см. «Город в долине»), упомянул он, и не подозревая в ту пору о моих дзенских интересах, этот только что вышедший в свет новозеландский разоблачительный опус, причем упомянул его в подтверждение своей собственной мысли, в дебатах им высказанной, что «культу личности» почти всегда соответствует «культ безличности», культ отказа от своего маленького, индивидуального я, подчинения его якобы высшим силам, смыслам и целям... Почти никак не затронули меня эти чудовищные разоблачения, удивительным образом; наверное, и не вспомнил я о них, принимая через примерно год после той конференции в прокуренной венской гостинице свое решение пойти по дзенскому (оказавшемуся в итоге таким недолгим) пути; я даже и книгу эту, «Дзен на войне», купил только тогда, когда путь был пройден и дзенская эпоха закончилась (и потому лишь купил ее, что она за гроши попалась мне на каком-то мюнхенском книжном развале); просто не хотел я ничего ни знать, ни слышать об этом, слишком важен для меня был дзен как таковой, слишком много надежд я с ним связывал; и никакие, все же доходившие до меня слухи о собранном на великих учителях компрометирующем материале не могли отвратить меня от моих устремлений и опытов; ни на одну секундочку не задумался я о дзенском милитаризме, проделывая свои незабываемые сессины с их болью в ногах и ликованием в душе, – и как если бы это были все те же несообщающиеся сосуды, совсем разные сферы жизни, или так, как если бы тот человек во мне, тот персонаж среди множества других персонажей, который думал или учился думать об истории, войне и вине, ничего общего не имел с тем другим, который сидел, сложив ноги и руки перед собою, считая дыхание, и, встав с подушки, принимался читать «Алтарную сутру» или читать всем адептам дзена на Западе известную книгу Филипа Капло «Три столпа (или три основания) дзена», *The Three Pillars of Zen*, в которой много раз появляются, в ореоле своей мудрости, и тот же Харада-роси, и тот же Ясутани-роси, и ни слова, ни словца, ни словечка не сказано о темных тайнах их прошлого.

«Одумайтесь!»

А самое (теперь) интересное для меня в этой скучноватой книге – рассказ о переписке Толстого с Соэном Сяку, учителем Д.Т. Судзуки и одним из знатнейших дзен-буддистов своего времени. Когда Лев Толстой (главный даос русской литературы...) обратился к Соэну (как именно обратился, с письмом, или еще как-нибудь, Виктория, он же Виктория, к сожалению, не уточняет), призывая его, Соэна, бороться вместе с ним, Толстым, за скорейшее прекращение Русско-японской войны, тот ответил нашему любимому автору решительной отповедью и рассуждениями о том, что война вовсе не противоречит буддизму, если она, война, способствует обращению людей к истине, поскольку-де Будда, с одной стороны, запретил убийство, а с другой стороны, и Будде понятно было, что мир не наступит, покуда все мыслящие и чувствующие существа не объединятся в практике бесконечного сострадания; если же они добровольно не объединяются, то можно и поубивать какое-то их количество ради достижения гармонии и приведения вещей в порядок... Никакого такого письма Л.Н.Т., если и вправду было письмо, я, как ни искал, не нашел; новозеландец что-то, может быть, перепутал. Зато в незабываемом памфлете против Русско-японской и вообще всякой войны – «Одумайтесь!» (1904) – любимый автор наш не только упоминает с понятным возмущением Соэна Сяку (*Соёна Шакю*, как он называет его) и приводит только что приведенные мною слова, но и цитирует большие отрывки из статьи Соэна «Буддистский взгляд на войну», *Buddhist View of War*, помеченной все тем же 1904 годом и тогда же переведенной на английский язык Д.Т. Судзуки (Толстой, следовательно, у себя в Ясной Поляне читал пускай чудовищные, но все же строки и фразы, если и не написанные, то, по крайней мере, переведенные нашим первым дзенским учителем; и разве этого одного недостаточно, чтобы повергнуть нас в изумление и трепет? – думал я на бессонной своей кровати, вновь вспоминая Васькину коммуналку, седую бровь, улетающую за край фотографии...). Статью эту отыскать оказалось нетрудно; загадка лишь в том, что приведенных выше славных слов о допустимости убийства ради достижения мировой гармонии – слов, которые Толстой цитирует так, как если бы он взял их из этой самой статьи, – нет там, и откуда они взяты, непонятно (Брайен Виктория дает ссылку на некий японский журнал; от этой ссылки проку для нас немного...). Там есть зато другие замечательные слова, частично приводимые – переводимые – Толстым, слова, например, о том, что, какими бы путями человек ни шел в жизни, пусть он, человек, будет свободен от эгоцентрических мыслей и чувств. Даже воюя за свою страну, он не должен испытывать ненависти к врагам. Ему придется, возможно, избавить своего противника от телесного присутствия (*corporeal presence*; чудесная формула для убийства), но пусть он не думает, что есть какие-то самости (*atmans*), пусть не преувеличивает значение отдельных личностей. Никаких отдельных личностей нет. Лишь всепроникающая, всепобеждающая любовь Будды наделяет их значением моральным, религиозным. Когда они свяжут свою судьбу со всепроникающей этой любовью, тогда и начнут что-то значить. Тогда они перестанут быть обособленными единицами, исполненными эгоистических помыслов, а сделаются воплощенной любовью. И даже если придется им сражаться за свой дом и родину – а иногда приходится в этом мире, – то пусть они забудут об эгоистических страстях, порожденных ложным представлением о самости. Пусть исполнятся добротой и любовью Будды; пусть возвысятся над разделением на *твое* и *мое*. Рука, занесенная для удара, и глаз, берущий цель на мушку, не принадлежат отдельному человеку, но это орудия, используемые Началом, высшим по сравнению с преходящей жизнью. Поэтому сражаясь, сражайтесь изо всех сил, от всего сердца, в сражении забудьте о своем *я* и освободитесь от всякой *atman thought*, всякой *самостной мысли*.

Фауст, утренняя заря

Никакого впечатления все это не произвело, показалось мне, и на Виктора ни в тот день, ни на следующий, когда я подсел к нему в университетской столовой. Брайн – как? – переспросил он – Виктория? или Викториа? Брайн Викториа, или, если угодно, Виктория; так зовут его, сказал я. Это мужчина или женщина? Это мужчина, и это фамилия. Ничего себе фамилия, произнес Виктор... За широкими окнами столовой, не в силах проснуться, стояла зимняя хмури; туманные клочья висели на холмах и над крышами; ветлы скрывали реку; пятна снега на блекло-зеленой лужайке казались одинокими островами на карте воображаемых океанов. Виктор оживился, лишь когда я упомянул в разговоре Боба Р., буддистский центр в Нижней Баварии; лицо его в огромном и зимнем свете, падавшем из окна, само посветлело; страдальческие сумасшедшие глаза заиграли осмысленным блеском. Пару раз, мотая головой и встряхивая кудрями, переспросил он, как называется заведение. В университетских столовых всегда очень шумно; гремят подносы, приборы; в привычном для них, а все равно искусственном, напущенном на себя возбуждении переговариваются, перекликаются, хохочут и гогочут студенты. Как все, оказывается, п-п-просто, как б-б-близко. Все всегда очень близко, всегда (ответил я) за углом. Мир духов рядом, дверь не на запоре... В его глазах стояло недоумение; он не узнал цитаты. Это «Фауст» в переводе Пастернака, сообщил я ему (с отвращением чувствуя, что снова впадаю в роль университетского преподавателя, цитирующего, прости господи, классиков). Мир духов рядом, дверь не на запоре, лишь сам ты слеп и все в тебе мертво. Умойся в утренней заре, как в море. Очнись, вот этот мир, войди в него... *Die Geisterwelt ist nicht verschlossen. Dein Sinn ist zu, dein Herz ist tot. Auf! Bade, Schüler, unverdrossen die ird'sche Brust im Morgenrot.* Это первая из двух цитат (не удержавшись, сказал я), очень мною любимых, не дзенских и не буддистских, но все же связанных для меня с моими дзенскими опытами; отсылающих в ту же сторону. А вторая? Джалаладдин Руми в переводе Фридриха Рюккерта. Когда любовь пробуждается, умирает я, темный деспот... *Du laß ihn sterben in der Nacht und atme frei im Morgenrot.* И там, и там – утренняя заря; может быть, Рюккерт вспоминал эти строки Гете, когда переводил Руми? И там, и там – ямб, и у Гете, и у Рюккерта четырехстопный, хотя и с совсем разной рифмовкою, поскольку Рюккерт в соответствии, наверное, с ориентальным оригиналом, нанизывает мужские окончания, оставляя незарифмованными нечетные строки, а у Гете это классическая, и простейшая, европейская строфа с чередованием женских и мужских клаузул (говорил я, впадая обратно в дурацкую роль доцента), но все равно это ямб, и четырехстопный, и вообще не мог же Рюккерт, переводя Руми, не думать о Гете, о его «Западно-восточном диване», первой, в сущности, по крайней мере первой столь значительной попытке привить восточную розу к западному дичку... Так или примерно так говорил я, по ту сторону своих слов вспоминая Ген-наадия, шоколадные конфеты, кошачью повадку, окна на Невский. Мои литературоведческие наблюдения оставили Виктора равнодушным; даже не попытался он изобразить интерес к четырехстопному ямбу, мужским клаузулам. Но сами стихи произвели на него впечатление. Он попросил меня повторить их. Потом попросил их записать для него. Бумаги у нас не было. За тем же длинным столом, за которым сидели мы у окна, сидели у прохода две студентки, прислушивавшиеся к нашей непонятной им русской беседе с вкраплением немецких цитат; одна из них вырвала из блокнота страницу, на которой, отодвинув поднос с остатками картофельного пюре в луковом темном соусе (еда в той столовой подавалась не на тарелках, но прямо в углублениях подноса), я и записал для него оба текста, заодно уж и адрес буддистского центра, фамилию Боба; Виктор, тоже покончивший с картофельным пюре, соусом, овощами, зеленоватым десертом в стаканчике (мяса, на моей памяти, он не ел никогда), сперва, сделав загиб и проведя по нему ногтями, долго и тщательно отрывал лохматый край страницы с полукружиями, оставшимися от дырочек (в которые в таких блокнотах про-

девается стальная спираль); затем так же тщательно, так же долго, сложив страницу пополам, водил по новому загибу ногтями, очевидно, уже не думая о том, что он делает, думая о другом, принимая свое решение. Над зеленой с белыми снежными островами лужайкой кружился, даже сквозь стекла оглушая нас, спасательный оранжевый вертолет (такие вертолеты садились иногда на этой лужайке, ближе к городской больнице им сесть было негде); кружился, словно выискивал что-то; выискав, вверх-вниз покачав хвостом, опустился среди белых пятен, сам превращаясь в оранжевое пятно, очень яркое в окружавшей его зимней блеклости. Никто не вышел из вертолета, никакая «Скорая помощь» к нему не подъехала. Посыпался снова снег из мутной, с черным исподом тучи, набежавшей на холмы, университет и лужайку; когда туча пробежала, солнце выглянуло стальным, блестящим, неярким, осязаемым кругом; вертолет, решив, похоже, что ему на этой лужайке не нравится, делать здесь нечего, снова, загрохотав, закружив свой винт, поднялся в воздух; покачал хвостом; сквозь засиявший на солнце день полетел в сторону врезанной в небо, над долиною нависающей крепости.

Отшельник, пустынный

Я ничего не знал в ту пору о Викторе, да он ничего и не рассказывал о себе. Не рассказал (лишь гораздо позже, во Франкфурте, рассказал мне) о том, что сразу после нашего разговора в столовой разыскал в Интернете адрес нижнебаварского буддистского центра, и уже через две или три недели, не дожидаясь конца семестра, прогуливая занятия (студенты это могут; могли, во всяком случае, до злосчастной болонской реформы; преподаватели, к их несчастью, нет), поехал туда, и познакомился с Бобом, и начал делать сессии за сессином (при том, что денег у него не было, и те сорок евро в день, которые нужно было заплатить за проживание и за еду, раздобыть ему было непросто, и приходилось в остальное время экономить на всем – не пить даже кофе в кафетерии, и уж совсем не было денег для так называемой *даны* – дани, добровольного пожертвования Бобу, который, впрочем, узнав о Викторовой нужде, просил его ничего не класть в коробочку, в конце сессии выставляемую для сбора этих добровольных денег, заменяющих гонорар; Виктор клал, конечно, какие-то деньги в эту коробочку, пускай совсем маленькие, сэкономленные на кофе в кафетерии, на покупке просроченного йогурта в супермаркете и вчерашнего, за полцены продаваемого в булочной хлеба...); то есть (и вот это самое удивительное, думал я, с бугра переваливаясь на бугор) приходил ко мне на посиделки с Кристофом и *сидел* замечательно, очень прямо, не шевелясь, глядя в стену, с полной и безоглядной отдачей (я это тоже чувствовал или мне казалось, по крайней мере, что они оба, и Кристоф, и Виктор, сидят гораздо лучше и сосредоточеннее, чем я сам), и на боль в ногах не жаловался никогда (хотя, наверное, и у него болели они, как у всех), и после дзедзена оставался пить зеленый чай из китайских маленьких пиалушек и слушать рассказы Кристофа о пальмовых листьях под ногами и скоростной еде по пути в Бенарес, и ни разу ни единым словом не обмолвился о своей подлинной дзенской жизни – сказал лишь, что еще в Питере ходил в маленькую, любительскую группку, пытавшуюся то *сидеть*, то читать сообща Догена, вскоре распавшуюся. Я только теперь понимаю, что эти два года были для него той эпохой, когда он начал думать о себе как о дзен-буддисте. До этого он был никто, просто мальчик, потом студент, по настоянию и под понукания родителей закончивший экономический факультет Петербургского университета; теперь он стал дзен-буддистом. И он не страдал от эйхштеттского одиночества, эйхштеттского безлюдья (как я сам страдал от них, убегал от них, куда мог, когда мог); он был в душе отшельник, пустынный; пустынность местности подходила ему. Не страдая от одиночества, он страдал, мне кажется, от жизни как таковой. С самой ранней юности, едва ли не с детства, как он впоследствии мне признавался, преследовали его приступы тоски, столь сильной, что он иногда не уверен был, что с ними справится, то есть в конце одного приступа не уверен был, что справится со следующим, или со следующим после следующего, скорее уверен был, что один из этих приступов с ним покончит или он сам покончит с собою, не выплыв, например, из какой-нибудь водоворотисто-бурливой реки... Он был из тех людей, иными словами, для которых – как таковая, в ее, скажем, непосредственной данности – жизнь невозможна, невыносима. Для него жизнь, предоставленная самой себе, вела в тупик и была тупиком; а он искал выхода, хотя бы просвета. В эти эйхштеттские годы такой выход ему увиделся, такой просвет его поманил.

Пит и пигалица

И он был, теперь получается, единственным из моих студентов, кого я приглашал к себе домой, на наши дзенские с Кристофом посиделки – с прибавлением к ним Виктора получившие даже некую регулярность (чуть ли не каждый вторник мы собирались); из этих же посиделок по-настоящему запомнилась мне одна – та, тоже единственная, когда мы не втроем сидели, но вчетвером, вместе с дзен-буддистом весьма примечательным, увы, всего однажды мне встретившимся на моем, если его и вправду можно назвать так, дзенском пути. Виктору, насколько я знаю, тоже не встречался он более. Это был некий голландец по имени Пит, когда-то где-то на его собственном пути повстречавшийся Кристофу (в бенаресском поезде, в бенгальской столовой); вдруг приехавший к нему в Эйхштетт; Кристоф, с моего согласия, позвал его *посидеть* вместе с нами. Мы даже не вчетвером, но впятером должны были *сидеть* в тот вечер, поскольку, узнал я от Кристофа, он не один приехал в Эйхштетт, этот голландец Пит, а вместе с девушкой, тоже голландкой, тоже буддисткой. Девушка, однако, на дза-дзен не пришла, опоздала; позвонила в дверь, когда мы уже *отсидели*; разминая затекшие ноги, готовились к чаепитию; оказалась крошечной, страшенькой, бритоголовой, с мелкими не чертами, но прямо черточками, не лица, но личика, невыразительными настолько, что я даже имени ее теперь не могу и на гористой гостиничной кровати никак не мог вспомнить. Голландец же Пит был длинный, весь узкий, с комически вытянутым лицом, с длинным подбородком и высоким, на самом верху идеально круглым, до блестящей буддистской синевы выбритым черепом, с длинными, тонюсенькими, какими-то *насекомыми* руками, ногами и пальцами, которые, казалось мне, при случае могли и сломаться. Глаза у него были огромные, сонно-серые, с трудом помещавшиеся на этом вытянутом узком лице, как будто готовые свалиться с него, вот сейчас: один направо, другой, значит, налево; на мир, косоглазая, смотрел он из-под приспущенных век, хлопающих ресниц, с большим равнодушием. Ни обо мне, ни о Викторе он ни Виктора, ни меня не спрашивал; не знаю, понимал ли толком, кто мы вообще такие; зато, наводимый вопросами чуть-чуть, похоже, гордившегося знакомством со столь *продвинутым* человеком Кристофа, охотно, ровным голосом, с тем мягким акцентом, детским выговором, какой появляется у голландцев, когда говорят они или пытаются говорить по-немецки, рассказывал о своих приключениях в Японии, в японских, причем суровейших, риндзайских монастырях, в одном из которых, в Кобе, прожил лет пять или шесть, и в другом, в Киото, еще сколько-то, тоже немало; в первом из этих монастырей, как он ровным голосом, детским выговором рассказывал нам, подливая себе зеленого чаю из чайника и отнюдь не брезгуя мятными пряниками, купленными мною в русской лавочке по соседству, он поначалу жил как своего рода послушник, когда же решил поступить в заправские монахи, должен был оттуда уехать, затем возвратиться – и затем два дня просидеть в прихожей, в доказательство своей готовности к аскетическому подвигу, на коленях, прижавшись лбом к ледяному дощатому полу, причем его периодически сбрасывали с лестницы грубыми пинками и с громкими криками, что нет места в монастыре для него, недостойного, ничтожного, никому здесь не нужного иностранца, хотя и он сам, и наслаждавшиеся своими криками и пинками монахи отлично знали, что место для него было, и это просто был такой ритуал, и даже это не просто был такой ритуал, но это сбрасывание с лестницы было почти счастьем для него, Пита, поскольку позволяло ему хоть пару раз в день размять затекшие руки, онемевшие ноги, рассказывал Пит, демонстрируя свои длиннющие и тонюсенькие насекомые ноги, насекомые руки, которые так легко было представить себе ломающимися при пересчете ступенек и которыми он сразу же ухватил свою, с забытым мною именем, пигалицу, когда она появилась; едва она, крошечная, уселась рядом с ним на диване, как пустились они целоваться, и шарить пальчиками по спине друг у дружки, и залезать друг дружке под свитерок и под маечку, и прижиматься друг к дружке коленками, так что, мне подумалось, вот сей-

час займутся они любовью, у нас на изумленных глазах; вместо этого, поднимая сонные веки, поглощая чай с пряниками и по-прежнему, видимо, не очень хорошо сознавая, где он находится и с кем говорит, Пит, прижимая к себе бритоголовую и, в свою очередь, не брезгавшую пряниками пигалицу, продолжил, детским выговором, рассказ о своих подвигах страстотерпца в риндзайском монастыре, где особенно плохо, он рассказывал, приходится новичкам и хуже всех тому из них, кто поступил в монастырь последним, поскольку все над ним измываются, как только могут, помыкают им и понукают его в полнейшее свое удовольствие, заставляют его собирать с пола и доедать просыпавшийся во время общих трапез рис или что бы там на пол ни просыпалось, и доедать все остатки – в монастыре ничего-де пропадать не должно, ни крошки, ни рисинки, – и чуть ли не насильно в него эти остатки запихивают, а он уже давится, уже готов возратить все обратно, и одна только у него есть надежда – что поступит, наконец, в монастырь новый новенький, над которым он, теперь уже новенький не совсем новый, вместе с прочими начнет измываться, и он вправду видел, рассказывал Пит, доедая последний пряник, как такого новейшего новенького заставили сожрать собственную блевотину, и нет, он вовсе не утверждает, что все монастыри такие, есть куда более легкие, мягкие, но этот был вот такой, и он прожил в нем несколько лет, он все выдержал; и никто – ни я, ни Виктор, ни Кристоф – не решился спросить его, что он там пережил помимо издевательств над новичками, пережил ли сатори, решил ли, и если решил, то какие, коаны (в дзенском мире об этом никто никого не спрашивает); и я только думал, глядя на него и на пигалицу, не без, признаюсь, злорадства, что ни в какой монастырь, ни в более, ни в менее легкий, ни школы Риндзай, ни школы Сото я уже не поеду – вышло мое времечко, прошло мое увлечение (как в другой жизни, в Васькиной коммуналке, думал, не злорадствуя, но втайне все-таки радуясь, что не поеду я ни в какой Иволгинский дацан, ни в каком плацкартном вагоне...); Виктор же, преувеличенными глазами, с непроницаемым лицом глядя на пигалицу и Пита, думал, наверное, совсем другие думы; думал, может быть, что и он, Виктор, когда придет его очередь, не дрогнет и не отступит, отстоит на коленях и на полу сколько нужно, все выдержит, все преодолеет.

Снова Франкфурт, толчая небоскребов

И вскорости мы не то что поссорились с Кристофом, но как-то сами собою прекратились наши *сидения*, после того как он, Кристоф, в отсутствие Виктора, вместо обычной индийско-гастрономической болтовни за после-дза-дзенским зеленым чаем, пустился в разглагольствования о бедных палестинцах и зловредном Израиле, на все же мои попытки поколебать его убогие представления о мире отвечал обычным, за годы моей европейской университетской жизни уже окончательную оскомину набившим мне набором непрошибаемых штампов – империализм, глобализм, страдания Третьего мира, – так что мне все сильнее хотелось послать его к чертовой бабушке и другим родственникам рогатого. Я сдержался, а все-таки сидения наши сами собой прекратились, Кристоф, может быть, отправился в очередной раз в мифологический Непал и абстрактную Индию, во всяком случае, не звонил и вестей о себе не подавал. Тогда же исчез и Виктор; исчез, в свою очередь, незаметно, не попрощавшись (или так мне теперь это помнится); просто, видимо, уехал из Эйхштетта, отучившись там свои четыре семестра; то есть исчез, как я теперь понимаю, в конце летнего семестра 2003 года, того летнего семестра 2003 года, во время которого я сам, после нескольких стихотворений, сочиненных мною одно за другим, в июле, в очень сильную, навсегда мне запомнившуюся жару, в новой и для меня самого неожиданной безрифменной манере, отчетливо ритмизированным верлибром, окончательно поверил в свою способность писать стихи непостыдные (и сразу все повернулось в другую сторону или другой стороною, как ландшафт, внезапно и счастливо освещенный из-за грозной тучи пробившимся солнцем; или, наоборот, как ландшафт, сожженный жарою, на который набежало, наконец, дождевое вожденное облако); я, похоже, и не задумывался о Викторе, не спрашивал себя, куда он запропастился, а если спрашивал, то не стремясь получить ответ, вчуже любопытствовал, но и все тут, и уж точно разыскать его не пытался, разыскивать не собирался, почти забыл о нем – до той самой поездки во Франкфурт, когда в вагоне ICE познакомился с поедающей сэндвич Тиной; и поскольку одно вызывало в памяти другое, под утро, лежа на окончательно гористой, скалистой, уже прямо непальско-тибетской кровати, вновь вспоминал, перекатываясь с горы на гору, с Эвереста на Джомолунгму, как мы с ней сидели в этом издававшем драконий свист экспрессе, наблюдая за разноцветной конною армией, не скакавшей, но тихо, с непреклонной уверенностью в победе двигавшейся на штурм промышленных ангаров, далеких холмов, и как я удивил ее (не армию, конечно, а Тину) своим экзотическим происхождением и слабостью к древнегерманским, нацизмом опороченным именам (Ирмгард, Гертруд и Эдельгейд). Уже франкфуртские башни появились и засверкали за окнами, вся эта волшебная толчая небоскребов, всякий раз восхищающая меня, когда я подъезжаю к городу, на поезде ли, на машине... Тина дала мне свою карточку, когда толчая небоскребов за окнами отозвалась толчеею в проходе между кресел вагона и все чемоданы на своих колесиках потащились вместе с владельцами к выходу; еще помню, как удивлена была моя тогдашняя подруга Вика (Габриэла Виктория Моника), увидев меня сходящим с поезда вместе с незнакомой толстухой. Уже мои отношения с этой Викой разлаживались, уже она искала повода для недовольства и спора. Что, собственно, подтолкнуло меня на другой день по приезде, сидя за Викиным компьютером после очередной ссоры с нею, в ее квартире в Эшерсгейме, франкфуртском пригороде (квартире, славной тем, что видны были из окна и с балкона все башни, все небоскребы на фоне плоских холмов), задать в поисковой программе (уже в Google или еще в Yahoo? кто теперь это помнит?) имя Боба Р., моего, четыремя годами ранее, дзенского наставника, я не знаю (ссора с Викторой? скука? ощущение неправильности жизни? ненужности со мною происходящего?); велико же было мое изумление, когда поисковая программа (Yahoo или Google) выплюнула мне первым делом интернетную страничку местной, то есть франкфуртской, дзен-буддистской группы (сангхи) – одной из нескольких франкфуртских

групп (или сангх), – на каковой страничке, среди прочего, лучше – в первую очередь, сообщалось, что этой группой руководит не кто иной, как именно Боб, уже лет десять, с тех пор как он, Боб, со своей японской женой и двумя, как я впоследствии имел возможность убедиться, тоже очень японскими, не очень, к несчастью, здоровыми детьми поселился в Кронберге, одном из соседних с Франкфуртом городишек. Приложены были фотографии созданного сангхой зала для медитации; имелся адрес; имелось и расписание дза-дзена утреннего, дза-дзена вечернего; ближайший вечерний был через два часа. В пору моих дзенских опытов, пятью и четырьмя годами ранее, я и не задумывался о том, откуда Боб приезжает в Нижнюю Баварию, на романтический хутор. Теперь я знал откуда. Дзен-до, между прочим, располагалось (и располагается) в одном из лучших и самых дорогих районов Франкфурта, в Вестенде (и совсем недалеко от той улицы, где жила, живет Тина), одном из тех районов (их во Франкфурте тоже несколько), где какая-либо *недвижимость*, говоря языком газетных объявлений, если вообще сдается, то сдается по вполне астрономическим, вполне фантастическим ценам, так что я и тогда не понимал, и до сих пор не понимаю, на какие пожертвования каких банкиров могло и может маленькое буддистское сообщество, до недавнего времени по пути дхармы вемое Бобом, снять – или даже купить? – то, для жилья, впрочем, непригодное (чем, по-видимому, и объясняется возможность снять его), на перестроенную оранжерею похожее помещение, где, когда я впервые туда попал, не было поначалу никого, кроме Боба и еще одного, молодого, с сине-бритой головою адепта, искателя просветленья.

Сангха

Нужно было сперва позвонить с улицы в высокую, с решетками, дверь (и долго ждать, покуда она зажужжит и поддастся нажиму); за дверью была длинная узкая арка; за аркою двор с навесом для велосипедов у стены и конско-каштановым, многоствольным и раскидистым деревом посередине; за двором другой двор. В первом дворе, почти скрытый каштаном, сидел на лавочке пожилой, улыбающийся, красным шарфом замотанный господин, просто, как я впоследствии выяснил, житель этого двора и дома, почему-то часто сидевший без всякого дела на лавочке, – тоже, значит, по-своему, мечтатель и созерцатель, никакого отношения к дзену не имевший – если не считать таковым его очень кустистые, седые, размашистые брови над маленькими, мирно-колючими глазками, – брови, своим лихим разлетом сразу напомнившие мне ту фотографию Д.Т. Судзуки, на которую так часто смотрели мы с Васькой-буддистом, которая висела у него в коммуналке на не помню какой линии Васильевского острова, вечность назад, в другой жизни. К буддистам – сюда, сказал мне улыбающийся Судзуки, указывая на другую, тоже узкую, на сей раз недлинную арку. В глубине второго двора обнаружилась пристройка, когда-то и в самом деле бывшая, похоже, оранжереей – со стеклянной крышей и отчасти стеклянными стенами, скрытыми от любопытных или равнодушных взглядов обитателей двух дворов высоким японским бамбуком, сухо шелестевшим на своем собственном, тоже, наверно, японском, для людей неощутимом ветру; среди бамбука обнаружился и крошечный, загогулистый прудик с плоскими камнями, к нему ведущими, и камнями круглыми, лежавшими в нем самом. Мне показалось, когда я вошел и увидел Боба с синеглавым адептом, сидящих на подушках друг против друга, что это докусан, что они говорят, может быть, о коане, над которым как раз работает (медитирует, мучается, стонет, бьется...) синеглавый адепт. Боб, в нижнебаварском уединении всегда ходивший в простой рубашке, застегнутой на верхнюю пуговицу (седой отличник, лучший ученик в классе), здесь, к немалому моему изумлению, был как раз в дзенском черном одеянии с золотым блестящим нагрудником; в одном из тех торжественных одеяний, о которых только в книжках читал я. Они оба встали, когда я вошел; Боб тут же меня узнал. Мне показалось, он был рад моему приходу. Глаза у него были такие же светлые; волосы за прошедшие четыре года решились, наконец, из волос блондина превратиться в волосы блондина бывшего, поседевшего, пожившего на земле. Огромные, сумасшедшие, тут же бросившиеся мне навстречу глаза были у синеглавого адепта, который, пока я говорил с Бобом, словно выпал из моего поля зрения, или так мне теперь это помнится, и затем опять появился, в нашем разговоре с Бобом не принимая, впрочем, участия, но занятый раскладыванием подушек для дза-дзена, которые, прежде чем положить их на маты, он слегка подбрасывал и взбивал короткими быстрыми хлопками по их закругленным бокам. Я все еще не узнавал его, и не только, наверно, потому, что никак не ожидал его здесь увидеть, но и потому еще, что так сильно он изменился. Отсутствие рязанских кудрей делало его другим человеком. Это был другой человек, еще очень молодой, но уже несомненно взрослый, одетый в черное (черные джинсы, черную водолазку) буддист. Он подошел ко мне, наконец; уши его торчали на голом лице как два отдельных существа, два зверька. В глазах по-прежнему стояло страдание; стоял, рядом со страданием, дружески приобняв его, смех. Здравствуйте, Алексей Анатольевич (русские студенты, и бывшие студенты тоже, иногда называют меня по имени-отчеству). Я попросил его оставить *Анатольевича* в покое. Он показал – улыбкой на лице и смехом в глазах, – что узнает мой *стиль юмора*. Кого угодно, Виктор, я ожидал здесь встретить, только не вас. Почему? – спросил он... Появились – в воспоминании кажется, что все сразу – другие персонажи сангхи, среди них та польская дама (Ирена), с которой вместе проделали мы оба моих сессина и которая приветствовала меня так бурно и радостно, как будто что-то еще нас с ней связывало. Такая же была на ней зеленая кофточка, с такой же плутовской честностью

смотрела она своими зелеными, славянскими, игриво-искренними глазами. Больше я никого не знал; с тех пор узнал многих. Один из них был известный во Франкфурте адвокат: уже пожилой, очень вальяжный, богатый, снявший в предбаннике такие миллионерские ботинки (ручной работы, с узором из недопробитых дырочек на носках), какие я видывал только у двух или трех незабываемых персонажей моей жизни, на какие мне самому всегда было жалко потратить полтысячи (по скромному счету) евро (а подделки покупать не хотелось, не хочется). Дзенем, как впоследствии выяснилось, занимался он чуть ли не с семидесятых годов, когда никто еще во Франкфурте никаким дзенем не занимался; похож был при этом не на Судзуки, а скорее уж прямо на Гете, на поздние портреты Гете с орденом на груди и государственными складками у подбородка (с годами и с его старением сходство усиливалось); да и звали его (зовут его) просто-напросто – Вольфганг. Другой и тоже отчасти деловой человек, упрямый дзенский адепт именем – Герхард, маленький, решительный и быстрый, похож был – в пике гетеобразному Вольфгангу – и даже очень сильно похож был, так что я сразу подумал об этом, на Гейдеггера; такие же, как почти на всех, иранских, и поздних, фотографиях фрейбургского бытийствующего прорицателя, были у него зализанные назад темные волосы, обрамлявшие отчетливые залысины над широким покатым лбом, такие же мелкие колючие глазки и колючие усики, навсегда, на мой вкус, скомпрометированные сходством с другим историческим персонажем, по-своему тоже философом, не объяснявшим, но, увы, изменявшим мир (по завету третьего, обильно бородатого исторического персонажа). Еще помню некую Зильке, некую Анну, двух девушек в потертых джинсах и рубашках навыпуск, при ближайшем рассмотрении оказавшихся девушками лет по пятидесяти, вечными студентками, с течением жизни и времени превратившимися в вечных училок; одна из них (пшенично-блондиновая Зильке; Анна, та была рыжая) не просто учительствовала, но учила других училок учительствовать, занимаясь сим страшным делом на кафедре так называемой дидактики (только вот не помню, дидактики чего именно, то ли истории, то ли немецкого языка) во Франкфуртском университете, в то время как раз переехавшем (или переезжавшем) в замечательное здание – не новое, но отреставрированное старое – на западе города, в пешеходной близости от дзен-до... Поразив меня еще больше, Виктор сел ошую от Боба, значит, получил в свое распоряжение и часы, и медную миску с битой (потом выяснилось, что эту роль здесь тоже играют по очереди). Он быстро и громко ударил битой три раза; как-то особенно долго, я помню, не затихал последний удар; смолкающий звук его вибрировал и вибрировал в воздухе. Я уже писал тогда стихи, и дзен для меня был в прошлом. Прошлое имеет свойство возвращаться к нам, оживать в настоящем. Я вскоре почувствовал то огромное успокоение, которое чувствовал, бывало, во время моих сессингов, четыремя годами ранее; ноги, конечно, немели, спина болела; но очень скоро исчезла эта боль; немота, ломота забылись; мысли, как светлые облака, проходили по счастливому небу; даже кинхин не вызвал во мне всегдашней глупой веселости. Мы отсидели традиционные три периода по двадцать пять минут; не помню, кто разнес чай; чай, как выяснилось, здесь было принято пить после каждого дза-дзена, еще в молчании, но уже сидя лицом к залу; вслед за чаем, с должными подвываниями, прочитана была «Сутра сердца», «Праджняпарамита хридая сутра», в очередной раз сообщившая мне, что форма – это пустота и пустота – это форма, что нет никакой разницы между ними и нет, на самом деле, ни старости, ни смерти, ни избавления от смерти и старости, ни страдания, ни причины страдания, ни пути, ни познания, ни достижения. Когда все закончилось и я сумел встать на онемевшие ноги, Боб, улыбнувшись понимающей улыбкой, облив меня сиянием своих глаз, сообщил мне, что через неделю у него дома в Кронберге будет ежегодный праздник их сангхи, нет (отвечая на мой вопрос), не связанный ни с какой буддистской датой (главный буддистский праздник, Весак, всегда, как мне известно, происходит весной, в мае, в начале июня), но скорее отмечающий (теперь уже в десятый раз, вот ведь как) открытие их дзен-до (он обвел рукою и взглядом циновки, татами, стеклянные и не-стеклянные стены, бамбук за окном); если, сказал Боб, я еще буду во Франкфурте в это время и если я хочу, то

почему бы мне не приехать на этот праздник, эту, скорей, вечеринку (this small party) вместе с Виктором (с которым, если он правильно понял, я ведь давно знаком по университету, не так ли?) Я собирался уехать раньше, но тут же решил во Франкфурте задержаться, несмотря на все ссоры с уже готовой исчезнуть из моей жизни подругой Викой.

Музейный берег

Виктор, когда мы с ним вышли в тот вечер на улицу, перешли на русский язык, рассказал мне, что перебрался во Франкфурт годом (примерно) раньше, чтобы (он покраснел) быть поближе к у-у-учителю. Его стипендия в Эйхштетте как раз закончилась, и он не знал, что делать: то ли возвращаться в Россию, то ли... Он поступил работать в банк, короче. Он? в банк? Он – в банк, отвечал Виктор на мое восклицание, мое изумление, тыча рукою в сторону банковских башен, светившихся в прозрачном городском небе, над темными крышами. В одну из этих башен, вон в ту. Его сразу же и взяли в банк, с его экономическим образованием, математическими достижениями и прочими данными. Он ненавидит свою работу. Он давно бы ее бросил, если бы не должен был ходить на службу ради визы в паспорте. Если он когда-нибудь получит немецкое гражданство, то службу бросит немедленно. Бросит службу, уедет в Японию. Или останется здесь, рядом с у-у-учителем. Еще рано об этом думать. Пока он работает, ходит в банк, каждый день. Он никогда в жизни не зарабатывал и не имел таких денег. Иметь деньги довольно приятно... Мы и пошли, я помню, в сторону банковских небоскребов, то есть в сторону «Сити», как говорят во Франкфурте, по темным и тихим улицам Вестенда с их то ли не погибшими при бомбежках, то ли удачно подделанными особняками из красного камня, вышли на Бокенгеймерландштрассе, затем вышли к Старой опере и по всегда, кроме выходных дней, пустынным, теперь, будним вечером, темным и страшноватым парковым полосам (иначе не знаю, как назвать их; настоящим парком их явно не назовешь), окружающим самую старую часть города (и повторяющим, как это в германских городах бывает нередко, рисунок средневековых стен, снесенных за ненадобностью в XIX веке), к Новой опере и драматическому театру, наконец к реке, спустились по лестнице, перешли через железнодорожные пути, почему-то бегущие вдоль реки по газону, отделяющему от автомобильной улицы пешеходную набережную. Огни пришвартованных парходиков тоже пытались бежать по воде. Виктор жил на другом берегу, в Заксенгаузене; по другому берегу, так называемому Музейному, и пошли мы (предвестие грядущих прогулок) на восток (где тогда еще не только не строили, но, кажется, еще и не собирались строить новое здание Европейского центрального банка, за постепенным ростом которого мне суждено было наблюдать впоследствии с растущим, в свою очередь, восхищением), удаляясь от уже готовых, уже давно или не очень давно возведенных небоскребов, тесной рощицей стоящих на одном пяточке. Мы на них, конечно, оглядывались. Во всем своем державном великолепии видны они с того берега: и самый высокий из них, вообще самый высокий в Германии, спроектированный Норманом Фостером небоскреб Коммерцбанка с торчащей над ним антенной, и, поодаль, зеркальные башни банка Немецкого, и тогда еще не заслоненная соседним небоскребом стеклянно-цилиндрическая башня Майнская, как официально она именуется, предоставляющая всем, у кого не кружится голова, возможность полюбоваться городом и окрестными горами с открытой площадки, из заоблачных высей, и все прочие, как бы ни назывались они; небоскребы и башни, замечательные, я часто думаю, не только сами по себе, но и своим несходством друг с другом, отсутствием общего плана, лилового гребня. В темноте, сквозь ветви платанов, которыми усажен Музейный берег, что-то почти домашнее появляется в их державности, те немногие окна, которые светятся в них, светятся почти, пожалуй, уютно, как если бы там кто-то нас ждал.

Перевернутые огни

Еще я должен был привыкнуть к этому новому Виктору, к буддистскому блеску его синего черепа, к этому ощущению деловой и дзенской, им обретенной, уверенности. Вот здесь он бегаёт по утрам. Да, он по-прежнему бегаёт, вообще много занимается спортом. Всегда много занимался спортом и по-прежнему занимается. В свой банк, вон в ту башню, ездит на велосипеде. Что же, прямо в костюме? – спросил я (попытавшись представить себе Виктора в безлично-банковском одеянии, с бритой головой и оттопыренными ушами, катящим на велосипеде по набережной, на радость прохожим). Иногда и в костюме. У него есть в банке сменный костюм. Он даже к Бобу в Кронберг ездит на велосипеде, хотя это путь неблизкий. Между прочим, это жена Боба устроила его в банк. То есть это Боб все устроил, через свою жену. Она японка, она работает в банке. Они потому и переехали во Франкфурт, что ее перевели сюда из Осаки. У их банка есть филиалы в Японии и есть филиалы в России. Здесь японцев вообще много, русских тоже немало... Когда же он познакомился с Бобом? А вот тогда, сразу же, когда я рассказал ему о нижнебаварском центре, в университетской столовой. И сколько он сделал сессингов? За эти годы десять или двенадцать. Сколько? Десять или двенадцать, он точно не помнит. Он не пропустил ни одного сессина с Бобом в Нижней Баварии. С тех пор как он поступил на службу в банк, уже у него нет возможности так часто брать отпуск; он стал человеком подневольным... А почему же, почему же и почему же, Виктор, когда мы *сидели* втроем с Кристофом у меня в большой комнате, вы ни словом не обмолвились о вашем знакомстве с Бобом, о поездках на буддистский хутор, вообще обо всем этом? Он ответил, что он не знает. Он приходил *сидеть*, а не говорить. Кристоф говорил за нас за всех троих, Кристоф так охотно рассказывал о Бенгалии, Бенаресе, тарелках в поезде, листьях в столовой... А почему, спросил я, почему вообще дзен на рынке мировоззрений? Вот этого он уж точно не знает. Почему мы вообще то, а не другое выбираем на рынке мировоззрений? Мы оба замолчали, я помню; молчали вдоль реки, с ее перевернутыми огнями, плещущей чернотой.

Светский разговор о символической переправе

Его рассказ о десяти (или двенадцати) сессинах произвел на меня впечатление; я-то хорошо понимал (и понимаю), что такое двенадцать (даже десять) сессинов; я свой второй сессин уже только домучивал, дотягивал до конца, изнывая от боли в ногах, думая о побеге. Нужна решимость, чтобы выдержать все это, нужно твердо верить, что ты без всего этого обойтись не сумеешь, не выживешь. Передо мною и был человек решившийся (так я думал), окончательно сделавший свой выбор, даже внешне, этой дурацкой бритой головой показывавший, что выбор его окончателен, решение непреложно. Я не сомневался, что и в Японию он уедет, и не просто уедет, но проведет там, в каком-нибудь глухом монастыре в горах, у какого-нибудь знаменитого учителя, легендарного роси, пятнадцать лет, двадцать лет, и наследует от него дхарму, и сам станет, в конце концов, таким роси, и к нему, Виктору, будут приезжать другие паломники, молодые паломники. Я попытался представить себе, сбоку на него глядя, старого Виктора, с седыми бровями (больше сесть было нечему), с лицом уже не совсем европейским, уже азиатским, китайским... Так-то вы стираете пыль со своего зеркала, сказал я, вспомнив все (Шестого патриарха, Ваську-буддиста). Никакого зеркала нет, и подставки нет, и пыли нет тоже, ответил Виктор, неожиданной, уверенной улыбкой показывая, что и он может поддержать светскую дзенскую беседу, игру цитат и намеков и что вообще не надо принимать все это уж слишком всерьез. Дзен всегда ироничен; только две религии – дзен и даосизм (прочитал я еще в молодости, в Библиотеке иностранной литературы, у Алана, кажется, Воттса, Ваттса, Уоттса, которого штудировал с таким увлечением) – способны смеяться над самими собой; я, наверное, потому дзен и выбрал (если выбрал его вообще). А почему он выбрал дзен, вновь сказал Виктор, он не знает, он должен еще подумать. Может быть, из-за Шестого патриарха? Когда ему впервые, еще в Питере, один... один ч-ч-человек рассказал историю Шестого патриарха и прочитал ему оба стихотворения – и стихотворение Шень-сю, и стихотворение Хуэй-нэня, то все это ему так понравилось, говорил Виктор, уверенной и светской улыбкой показывая по-прежнему, что вполне всерьез принимать его слова не стоит – так понравилось ему все это, что уже и не мог он не выбрать дзен на рынке мировоззрений. А продолжение истории! Как он бежал из монастыря, получив от Пятого патриарха рясю и чашу, знаки его патриаршества, опасаясь завистников, и как Пятый патриарх, Хунь-жень, проводил его до реки и переплыл с ним реку в наемной лодчонке, причем они всю дорогу спорили, кто из них должен грести, и Шестой патриарх настоял на том, что он будет грести, не потому что он моложе и сильнее, а потому что он – восприимчив дхармы и помощь учителя ему уже не нужна. Теперь он сам со всем справится... Как было не прельститься этим? как не очароваться? – говорил Виктор с окончательно светской улыбкой. Вы понимаете, что это переправа символическая, сказал я, то есть они, может быть, и вправду переправлялись через какую-то реку, но вместе с тем это переправа символическая, сказал я (чувствуя, что, как некогда, выпадаю в дурацкую роль доцента), прямая отсылка к сутрам Праджняпарамиты, поскольку, как вам известно (известно, наверное, не хуже, а лучше, чем мне), *праджня* – это мудрость, а *парамита*, что иногда переводят как совершенство, в то же время означает переход, переправу – на другой берег, через реку смертей-и-рождений, через море неведения, иллюзий и заблуждений; то есть, говорил я (на Викторову светскую улыбку отвечая собственной светской улыбкой; в то же время вспоминая разглагольствования Ген-наадия в моей исчезнувшей молодости), санскритское понятие *парамита* можно перевести как «совершенство, переводящее на другой берег», и значит, *праджняпарамита* есть некая мудрость этого совершенства, или совершенство мудрости, или как угодно, говорил я, улыбаясь и даже смеясь, этим смехом отделяя себя от зануды-доцента, который стал бы всерьез все это рассказывать Виктору, не хуже, а гораздо лучше меня понимавшему, что такое *парамита* и *праджня*, в той мере, в какой эти санскритские слова вообще

поддаются пониманию и переводу, поскольку дело ведь не в словах, продолжал я, смеясь, раз-
глагольствовать (совсем как Ген-наадий), а в том, что лежит по ту сторону слов, на другом
берегу реки... Так много было огней на реке, что вода казалась светящейся; фонари набереж-
ных, подсветка мостов, даже верхние окна ближайших небоскребов – все это отражалось, дро-
билось, дрожало в ней, почти не оставляя пустых темных мест; вся темнота таилась под этими
огнями, этой дрожью и дробью, в непроницаемой для глаз глубине.

Дважды два – пять

Неделю спустя мы поехали в Кронберг, городишко в Таунусе (как называются прифранкфуртские невысокие горы), на мой взгляд, скучнейший, один из тех скучнейших таунусских городишек, где селятся банковские богачи, приезжающие по будням в Майнскую метрополию (как вычурно они выражаются) зарабатывать отпущенные им судьбой миллионы (на худой конец миллиончики), по выходным же предпочитающие сидеть на своих виллах, в обществе со-богачей, в своих садиках, за которыми нежно ухаживают их постные жены, редко выбирающиеся в развратный Франкфурт, не пускающие туда балованных деток, обреченных, следовательно, ходить в ясли, в школу и в гимназию вместе с другими такими же, со-детьми со-богачей, соревнуясь с ними по части модных джинсов, компьютеров и кроссовок и зная ничего не зная об учебных заведениях, разбросанных по франкфуртским индустриальным окраинам (в каком-нибудь Ганау, каком-нибудь Оффенбахе), где половина детей – турки, и другая половина – турки тоже, и марихуана продается на школьном дворе, и мордобой кажется простейшей формой коммуникации, и, может быть, очень даже хорошо, говорил мне Виктор, когда мы ехали с ним в Кронберг на электричке, что ничего этого не знают таунусские богатейские дети, вряд ли, говорил он, помянете вы добрым словом советскую пролетарскую школу с ее шпаной, ее драками. Нет, он драк никогда не боялся, говорил Виктор, и никакой лиговской шпаны никогда не боялся тоже; он всегда был сильный, спортивный; всегда был немножко (он покраснел и улыбнулся) *к-качок*. Его дразнили его заиканием, но он сразу давал в зубы, так что з-заикаться начинали д-дразнившие, говорил Виктор (и я не знал, верить ему или нет). Они жили на Полюстровском проспекте; то есть сперва жили на Лиговке, в коммуналке; потом, уже в перестройку, переехали на Полюстровский... В вагоне, через проход наискось, сидели, вернее садились, вновь вскакивали три девицы с разноцветными рюкзаками, размалеванными глазищами и губищами, в сопровождении одного, и только одного, невзрачного чернявого парнишки в тех широченных штанах, которые держатся непонятно как и на чем и всякий раз норовят съехать с попки хозяина, когда тот встает или вскакивает, а парнишка вскакивал всю недолгую дорогу до Кронберга, то ли демонстрируя барышням спадение штанов, то ли демонстрируя им какие-то танцевальные па (хип-хоп, прихлоп и притоп), которые все они демонстрировали друг другу, дрыгая конечностями под, к счастью, негромкую музыку из мобильного телефона, погогатывая и даже попискивая, покрикивая, подпевая в том искусственно-идиотическом возбуждении, которое призвано показать окружающим, прохожим или попутчикам в электричке, какие они (не попутчики, но подростки) *крутые*, какие они cool, как в Германии принято выражаться; усилия, почти трогательные в своей бесплодности, заранее обреченные на провал, поскольку, понятно, никакого впечатления не производит на окружающих взрослых этот детский театр, разве что на нервы им действует. Наискось, в свою очередь, от подростков сидел, отнюдь не вскакивая, седой грузный дядька балканского вида, с выжженным, глинистым и широким лицом, что-то громко шептавший – то ли стихи, то ли молитвы – и, уж конечно, ни малейшего внимания не обращавший на тщетные тинейджерские усилия произвести хоть на кого-нибудь впечатление, – дядька в такой неуклюжей кожаной куртке, каких с восьмидесятых годов я не видывал, и с огромной, совсем советской сеткой, наполненной мелкими, из сеточных дырок готовыми вывалиться огурчиками, стыдливо спрятанной между его нечищенных башмаков, на грязном полу. Виктор смотрел в другую сторону, на меня и в окно; на подростковые спевки ни разу не оглянулся. Я подумал, что ему никакого дела нет до всего этого – до этого, меня так сильно волнующего, пестрого сора фламандской школы, – как не было ему дела ни до «Бесов», ни до *генезиса русской революции*... А дзен, наверное, потому, сказал он вдруг (отвечая, выходит, на мой вопрос, о котором уже успел забыть я за неделю, с тех пор прошедшую, посвященную ссорам и расставанию с Викой) – потому, наверное, дзен на

рынке мировоззрений, что в дзене не нужно верить. Никаких богов, чудес, хождений по водам, воскрешений из мертвых. И это, знаете ли, здорово. Потому что он, Виктор, говорил Виктор, улыбаясь и глядя в окно, где уже густел, еще не гас, осенний и желтый, с длинными тенями и солнечными пятнами вечер, потому что он как-никак человек рациональный, экономист и математик, ему трудно верить, он привык – проверять. Дзен – религия опыта. Не верь Будде, не верь Боддхидхарме, убедись своими глазами. Если дважды два не четыре, а, скажем, пять, то никто не предлагает вам в это поверить, а предлагает самому убедиться. Дважды два четыре – да ведь это стена, ответил я не слишком, быть может, изысканной, все же цитатой, им, похоже, неузнанной. Вот именно, и никто не предлагает вам поверить, что за этой стеной что-то есть или что ее можно пробить, и как именно, и уж тем более никто вам не станет рассказывать, какие красоты и блаженства таятся за этой стеною, но вы или пробиваете ее... или не пробиваете. Ему как математику это нравится. Пробиваете стену, переплываете через реку... Между прочим, нам выходить, объявил Виктор, так и не поглядев ни на дрыганных тинейджеров, ни на огуречного дядьку.

Перечеркнуть психологию

Мы сбились с дороги в Кронберге; Виктор и вправду ездил к Бобу на велосипеде; не знал, как идти от вокзала; раза два, извиняясь, густо краснея, объявлял, что нет, не туда мы идем, пойдем лучше направо, налево. И мы шли налево, направо, все равно не в ту сторону, на горку, с горки и снова на горку, по фахверковым улицам; затем оказались, к Викторову изумлению, в парке, пошли через парк. Уже видны были за смутно черневшими деревьями, с краю от грозно-лиловой, полнеба закрывшей тучи, розовые и сизые провалы заката; гравий в аллеях был мокрым от прошедшего и готового возвратиться дождя; листья под ногами скользили, скрипели, вместе с гравием, словно вдруг вскрикивали; большие капли падали с веток; еще что-то всплескивало, всхлипывало вокруг. Я пытался представить себе Бобово жилище, даже немного волновался, я помню, при мысли о том, что вот сейчас, если мы совсем не заблудимся, предстоит мне заглянуть в его внутреннюю (так думал я) жизнь (которая всегда ведь сказывается во внутреннем убранстве наших жилищ); парк, однако, все не кончался; сумерки все сгущались; лиловая туча, темнея, надвигалась на все яростнее красневший закат. А еще, наверное, потому, что можно перечеркнуть психологию, вдруг (опять и в очередной раз вдруг; отвечая уже явно не на мой вопрос, но на свои же мысли) произнес Виктор, скрипя гравием, хлюпая мокрыми листьями; еще потому, наверное, что можно не копать в себе; можно просто себя отменить. Точно помню, что так он выразился, глядя в сторону, хлюпая листьями. Можно в себе не копать, но просто-напросто себя отменить. Наше я иллюзорно, значит и страдания его иллюзорны. Нам к-к-кажется, мы жить не сможем, если не р-р-разберемся с нашими г-г-горестями, начавши изо всех сил заикаться, говорил в сумерках Виктор, а это иллюзия, как и все остальное – иллюзия. Можно и не возиться с собою, просто сидеть в дза-дзене. Нет ни страдания, ни прекращения страдания, нет ни старости, ни смерти, ни избавления от смерти и старости, говорил Виктор, в сумерках, наверное, улыбаясь, но лица его я не видел, нет пути, нет познания, нет достижения, есть только бескрайнее небо, великолепное и пустое. Дзен п-п-поднимает нас над п-п-психологическим болотом, вновь начиная заикаться и уже, наверное, не улыбаясь, говорил Виктор, над илом и т-т-тиной наших душевных горестей, наших н-невзгод и н-неврозов. Можно просто не думать обо всем этом, не искать никаких решений. Дзен сам по себе решение, одно большее, других уже нам не нужно. Бог с ней, с этой т-тиной и т-тягомотиной, посмотрим на бескрайнее небо. Его синяя голова в окончательно сгустившихся сумерках казалась смутным пятном, расплывчатым шаром; я подумал, что тогда, в Эйхштетте, когда еще так трогательно тряс он своими рязанскими кудрями и скучал на моих занятиях, мы с ним по существу и не говорили и что уж, во всяком случае, никогда он не говорил о себе. Сейчас он явно говорил о себе, но я не решался спросить его, какие невзгоды и горести он имеет в виду. Деревья вокруг нас вырастали и ширились с приближением ночи; уже неба не видно было сквозь их темные огромные ветви, над их бурно шумящими кронами; из парка все-таки выбравшись, еще минут двадцать плутали мы по невразумительным улицам, покуда не вышли, на окраине городишки, к плоским, белым, семидесятих годов, двухэтажным домам, в одном из которых и жил Боб с семьей, занимая, как выяснилось, половину его (и половину, соответственно, садика, вернее лужайки с красногодными кустиками, отделявшими Бобову половину от другой и соседской).

Идеальный беспорядок

Я ожидал увидеть что-то очень японское – ничего японского не нашел; ожидал увидеть дзенский идеальный порядок (пустоту, простоту...) – обнаружил какую-то почти русскую безалаберность обстановки, да и всего мероприятия. Приготовлено ничего не было, хотя все уже собрались. В большой гостиной с широким окном на мокрую лужайку раскиданы были детские игрушки, рисунки. Мебель была никакая, икейская; два качающихся кресла из натянутой на гнутые доски парусины; невнятные полочки. Было очень шумно, было много детей, бегавших из сада и в сад... Японская была, конечно, жена Бобова, Ясуко; японские, полуяпонские были дети, мальчик и девочка. Мальчику было лет шесть: он был бойкий, быстрый, похожий скорее на индейца, чем на японца, на потомка ацтеков, наследника инков; бойко и быстро бегал, трясся очень черными, прямыми, длинными, блестящими волосами, из сада в гостиную, из гостиной вновь в сад, вместе с другими, забытыми мною детьми, которых, видно, привезли с собою на праздник их дзенствующие папаши, буддийствующие мамыши. Никуда не бегала девочка; на кривых ножках стояла в ярко-желтом загончике, крошечными ручонками сжимая пластмассовый поручень. Сперва я подумал, что просто она маленькая, трехлетняя; лишь со второго взгляда распознал в ее кукольном личике черты дебилизма, увидел, вздрогнув, ее ужасные, не вовне, но вовнутрь косящие глазки, сплошь темные и как будто вообще без радужек – бессмысленные, расширенные зрачки, упорно смотревшие в одну точку, на скрещении воображаемых линий, незримую прочим смертным; как объяснил мне впоследствии Виктор, ей было уже лет десять, лишь по развитию своему, душевному и телесному, она оставалась и до самого предсказуемо недалекого конца жизни обречена была остаться трехлетней. Другие дети для нее не существовали, как и она для них; пробегая – из сада в гостиную, из гостиной в сад – изредка, я заметил, бросали они на безумицу испуганные, изумленные взгляды. Жены Бобовой почти не было видно: японки умеют быть незримыми. Как выяснилось, она только начала готовить, в глубине гостиной (где, собственно, и была кухня, скорее символически отделенная от всего остального узкою стойкою); уже все собрались, но с истинно буддистским спокойствием, с непроницаемым лицом, молодым, красивым и тоже, совсем чуть-чуть, кукольным, что-то она резала, жарила, раскатывала скалкой и резала снова, приветствовала прибывавших гостей, не прерывая резки и жарки, изредка вступая с кем-нибудь, с Иреной или с уже упомянутой пшенично-блондиновой училкою Зильке, в неспешный, но то и дело взрывающийся ее изумленным «о!» разговор – как если бы она считала долгом своим изумиться и произнести это «о!», сопровождаемое поднятием тонко выщипанных бровей, в ответ на любое, самое ничтожное, сообщение ее собеседниц (например, на сообщение Анны, училки рыжей, о том, что она, Анна, на одну электричку опоздала, чуть и вторую не пропустила...), затем опять отворачивалась к плите, дощечкам и мисочкам.

Hic Rhodus

Что до самого Боба, то Боб опять явился передо мною в облике седого отличника, в застегнутой на верхнюю пуговицу клетчатой рубашке-ковбойке; так же обдавал окружающих сиянием своих глаз и волос. Небрежность обстановки, неторжественность мероприятия все-таки меня поразила, эти фломастеры и мелки на низеньком столике, детские ботиночки, валявшиеся в углу. Я что же, ожидал, что все сделают гассё и рассядутся на черных подушках? Нет, но чего-то дзенского ожидал я. А может быть, я думал, поглядывая на Боба, занятого беседою с гетеподобным Вольфгангом, франкфуртским адвокатом в миллионерских штиблетах, может быть, это небрежность сознательная, неброскость намеренная. Живу в Европе, жена работает в банке, дочка, увы, неизлечимо больна – и никакого японского заповедника, никакой дзенской резервации, все так, как есть, hic Rhodus hic salta, мудрец должен быть незаметен в толпе туманных невежд. . . Я узнал впоследствии, что наверху все же было у Боба и Ясуко маленькое дзен-до для домашнего пользования, где, впрочем, почти никто никогда не бывал, пару раз бывала Ирена, появившаяся на той вечеринке в своей самой зеленой кофточке, с глазами тоже самыми зелеными, самыми честными, самыми плутовскими, в обществе другой польки, Барбары, молоденькой и очень красивой, с глазами голубыми и ангельскими. Еще был гейдеггерообразный, помнится, Герхард, быстрый, маленький, упрямый дзенский адепт, говоривший отрывисто, словно командуя, топыря колючие усики и поблескивая зализанными залысинами; была худющая, бледная жена этого Герхарда, Элизабет по имени, выше его если не на целую продолговатую голову, то, по крайней мере, на явно потравленную перекисью прическу, до которой то и дело дотрагивалась она, проверяя, видимо, на месте ли ее драгоценные, ввысь вздернутые, больнично-белые волосы; был, кажется, еще один англосакс; даже, кажется, два англосакса: один американец, один англичанин. Американца я забыл; запомнил зато англичанина – с оригинальным именем Джон, с буддистской, как и у Виктора, синевою бритого черепа, металлическою заклепкою в уголке нижней, тонкой, бескровной губы и еще одной, крошечной и блестящей бляшкой под носом, серебряною соплею. Привлекательней был для меня другой персонаж, менее экзотический, чем-то, но смутным и внешним, напоминавший Ген-наадия, вовсе не склонный, впрочем, к философическому пустословию, скорее склонный к философическому молчанию; звали (и зовут) его Роберт.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.